

В.Г. Зебальд

Кольца Сатурна



Винфрид Зебальд

**Кольца Сатурна.**

**Английское паломничество**

«Новое издательство»

1995

УДК 821.112.2  
ББК 84(4)

**Зебальд В. Г.**

Кольца Сатурна. Английское паломничество / В. Г. Зебальд —  
«Новое издательство», 1995

ISBN 978-5-98379-202-9

В. Г. Зебальд (1944-2001) – немецкий писатель, поэт и историк литературы, преподаватель Университета Восточной Англии, автор четырех романов и нескольких сборников эссе. Роман «Кольца Сатурна» вышел в 1998 году.

УДК 821.112.2  
ББК 84(4)

ISBN 978-5-98379-202-9

© Зебальд В. Г., 1995  
© Новое издательство, 1995

# Содержание

I	6
II	18
III	29
IV	41
Конец ознакомительного фрагмента.	45

# Винфрид Зебальд

## Кольца Сатурна.

### Английское паломничество

© Eichborn AG, Frankfurt am Main, 1995

«Herod's Temple» Photography Copyright © Alex Garrard

© Новое издательство, 2016

\* \* \*

*Good and evil we know in the field of this world grow up together almost inseparably<sup>1</sup>.*

*Джон Мильтон. Потерянный рай*

*Il faut surtout pardonner à ces âmes malheureuses qui ont élu de faire le pèlerinage à pied, qui côtoient le rivage et regardent sans comprendre l'horreur de la lutte et le profond désespoir des vaincus<sup>2</sup>.*

*Джозеф Конрад Маргарите Порадовской*

*Кольца Сатурна состоят из кристаллов льда и предположительно частиц метеоритной пыли, вращающихся вокруг планеты в ее экваториальной плоскости по кругообразным траекториям. Вероятно, речь идет о фрагментах прежней луны, которая слишком приблизилась к планете и была разрушена ее приливами и отливами (см. предел Роша).*

*Энциклопедия Брокгауза*

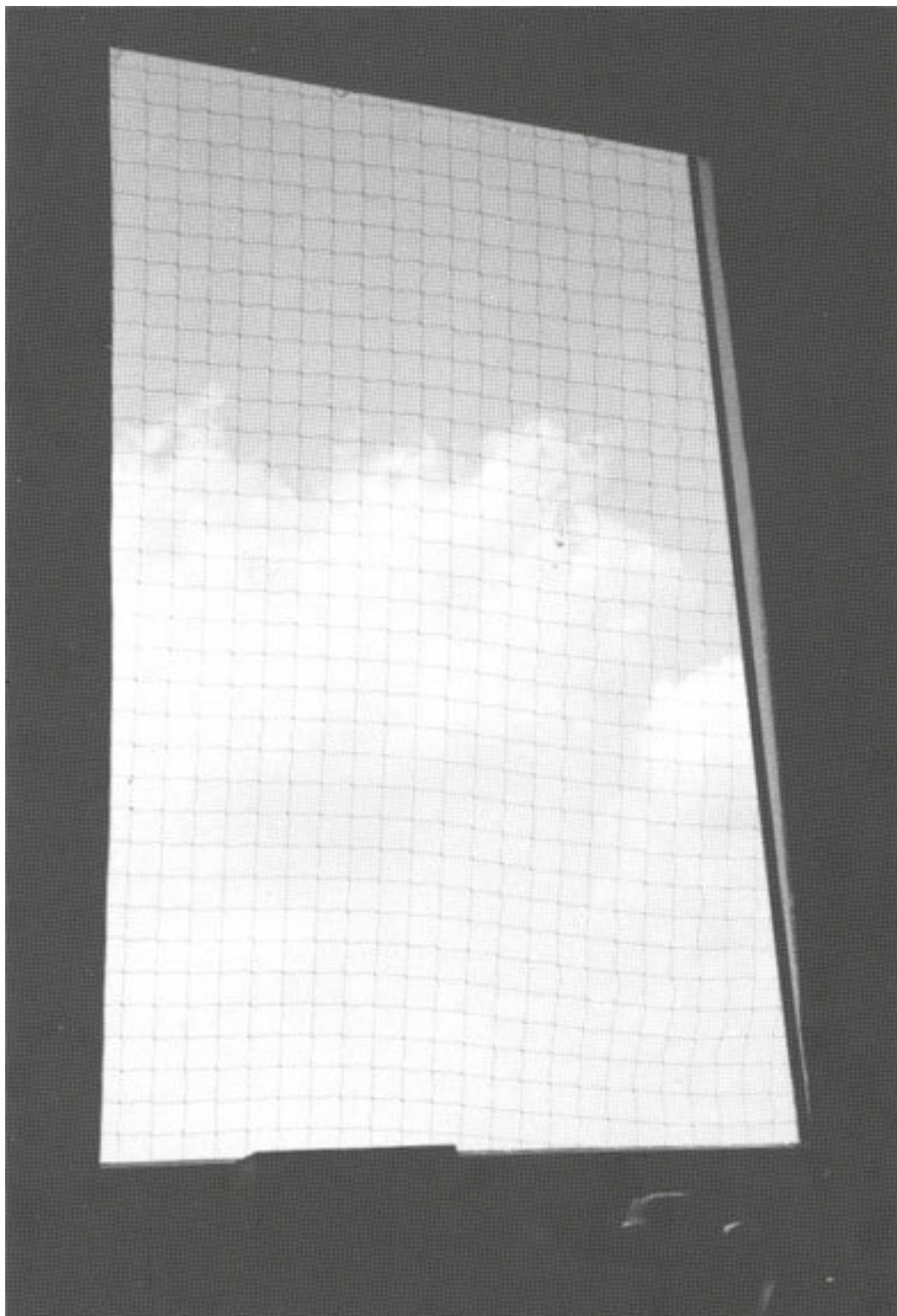
---

<sup>1</sup> «Добро и зло, как мы знаем, растут в этом мире вместе и почти неразлучно» (*англ.*; пер. С.В. Шервинского; цитата из «Ареопагитики» Мильтона).

<sup>2</sup> Безусловного прощения заслуживают те несчастные души, которые, совершив пешее паломничество, теперь стоят на берегу и наблюдают, без понимания, ужас сражения и глубокое отчаяние побежденных (*фр.*).

## I

В августе 1992 года, когда спала летняя жара, я отправился в пешее путешествие по графству Суффолк, надеясь избавиться от охватившего меня (после окончания довольно большой работы) чувства пустоты. Эта надежда в какой-то степени осуществилась, целыми днями я шагал вдоль берега моря мимо почти безлюдных селений, испытывая странное чувство раскрепощенности. Однако, с другой стороны, теперь мне кажется оправданным старинное суеверие, согласно которому под знаком Сириуса в нас застревают определенные болезни души и тела. Во всяком случае, потом меня томили воспоминания – не только о блаженной свободе перемещения, но и об ужасе, внезапно парализовавшем меня даже в этой отдаленной местности на востоке Англии при виде следов разрушения, ведущих далеко в прошлое. Быть может, поэтому ровно через год после начала путешествия меня в состоянии почти полной неподвижности отправили в больницу Нориджа, главного города графства Норфолк, и там я, по крайней мере мысленно, начал эти записи. Я еще хорошо помню, как очнулся в палате на девятом этаже больницы и как вдруг представил себе просторы Суффолка, где бродил прошлым летом, сжатыми в одну-единственную слепую и глухую точку. И в самом деле: с моей больничной койки весь мир представал в виде бесцветного кусочка неба в раме окна.



Весь день во мне поднималось желание выглянуть из окна больницы, непонятно зачем затянутого черной сеткой, я так боялся, что реальность исчезла навсегда, что мне хотелось убедиться в ее существовании; с наступлением сумерек это желание стало таким сильным, что я сумел каким-то образом, то на животе, то боком, преодолевая боль, перевалиться через край кровати на пол, на четвереньках добраться до стены и, с трудом ухватившись за подоконник, подтянуться до оконного стекла. Потом я стоял у окна в судорожной позе существа, которое впервые поднялось с земли, и передо мной возникла сцена с бедным Грегором. Я прямо видел,

как он, цепляясь дрожащими лапками за подлокотник кресла, всматривается из своего кабинета в смутное воспоминание о, так сказать, освобождении, которое прежде сводилось для него к возможности выглянуть из окна. Глядя заплаканными глазами на тихую Шарлоттенштрассе, где он много лет прожил со своими близкими, Грегор не узнавал ее, принимая за серую пустыню, – в точности так и я не узнавал знакомого города, он тянулся от больничных дворов до самого горизонта, но казался мне совершенно чужим. Я не мог себе представить, что где-то там, среди нагромождения стен, что-то еще шевелится; казалось, я смотрю с утеса на расстилающееся внизу каменное море или галечную россыпь, из которой, как огромные валуны, выпирают мрачные массы гаражей. В тот блеклый вечерний час в округе не было видно прохожих, кроме какой-то медсестры, которая как раз пересекала унылый сквер перед воротами, направляясь на ночное дежурство. Карета скорой помощи с мигалкой, медленно огибая многочисленные углы, двигалась из центра по направлению к своей станции. Сирены я не слышал. Я находился на такой высоте, что был окружен почти полным, так сказать, искусственным безмолвием. Слышен был лишь слабый звук воздушного потока, пронесившегося над землей, а когда этот шорох затихал, оживал почти постоянный шум в собственных ушах.

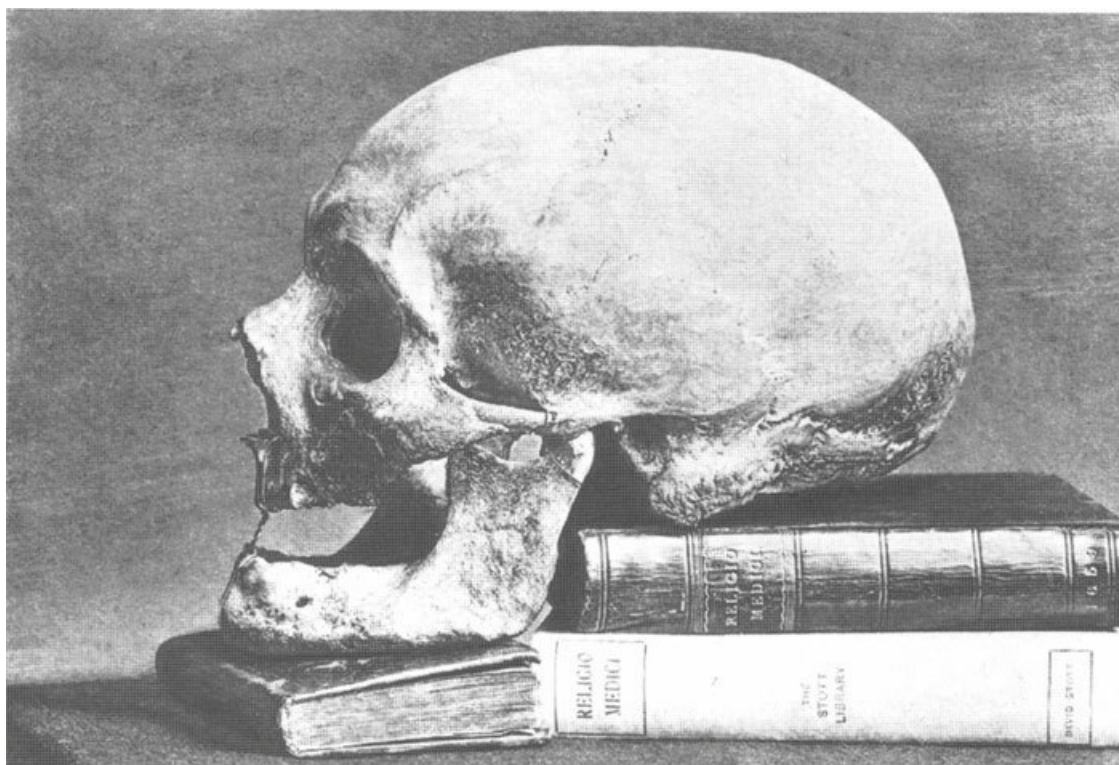
Сегодня прошло больше года с тех пор, как меня выписали из больницы, и я начинаю переписывать набело свои заметки, против воли думая о том, что год назад, когда я глядел с девятого этажа на погружавшийся в сумерки город, Майкл Паркинсон был еще жив, сидел в своем узком доме на Портерсфилд-роуд и, по всей вероятности, готовился к семинару или корпел над монографией о Рамю, который уже много лет занимал его мысли. Майклу было под пятьдесят, он был старый холостяк и один из самых безобидных людей, с которыми мне довелось встречаться. Он не ведал своекорыстия, и ничто не заботило его больше, чем исполнение долга, хотя это давалось ему все труднее из-за сложившейся с некоторого времени обстановки. Но больше, чем все прочее, его отличала непритязательность, о которой кое-кто говорил, что она граничит с чудачеством. В наше время, когда большинство людей для поддержания своего статуса вынуждены делать постоянные приобретения, Майкл практически никогда не ходил за покупками. Из года в год, сколько я его помню, он носил попеременно либо синюю, либо ржаво-коричневую куртку, а когда обтрепывались рукава или протирались локти, сам брал иголку и нитку и ставил кожаную заплату. Даже воротники на своих рубашках он, кажется, лицевал сам. На летних каникулах Майкл регулярно отправлялся в долгие путешествия, связанные с его исследованиями Рамю: пересекал пешком швейцарские кантоны Вале и Во, иногда Юру или Севенны. Часто, вернувшись из такого путешествия или услышав, как я восторгаюсь его серьезным отношением к работе, он, казалось, бывал горд и счастлив, при всей своей (в наше время почти непредставимой) скромности. Но в прошлом мае вдруг прошел слух, что Майкла, которого несколько дней никто не видел, нашли в постели мертвым. Он лежал на боку, уже остывший, с лицом, покрытым странными красными пятнами. Судебное расследование пришло к выводу «that he had died of unknown causes»<sup>3</sup>; к этому резюме я сам приписал: «in the dark and deep part of the night»<sup>4</sup>. Каждый из нас, услышав о внезапной кончине Майкла Паркинсона, содрогнулся от ужаса, но, видимо, хуже всех перенесла эту весть Джанин Розалинд Дейкинз, одинокая старая дева, доцент с кафедры романистики; можно даже сказать, что потеря Майкла, с которым ее связывало что-то вроде детской дружбы, так ее травмировала, что спустя несколько недель она сама слегла от болезни, в кратчайшее время разрушившей ее организм. Джанин Дейкинз жила в переулочке рядом с больницей. Как и Майкл, она получила образование в Оксфорде и всю жизнь занималась французским романом XIX века, ее исследования, в чем-то даже приватные, свободные от какого бы то ни было интеллектуального тщеславия, всегда исходили из какой-нибудь таинственной подробности и никогда – из общеизвестных фак-

<sup>3</sup> Что он умер от неизвестных причин (англ.).

<sup>4</sup> Глухой и темной ночью (англ.).

тов. Особенно это касалось весьма высоко ею ценимого Гюстава Флобера, из чьей переписки, насчитывающей тысячи страниц, она при случае цитировала длинные пассажи, каждый раз заново приводившие меня в изумление. Излагая свои мысли, она подчас впадала в восторженное состояние, вызывавшее у меня чуть ли не озабоченность; впрочем, движимая огромным личным интересом, она пыталась понять причину писательских угрызений Флобера, его страха перед фальшью, говорила, что этот страх неделями приковывал его к дивану: он опасался, что никогда больше не сможет перенести на бумагу даже полстроки, не подвергая себя самой мучительной компрометации. В такие моменты, говорила Джанин, ему казалось невозможным любое будущее писательство, более того, все написанное прежде представлялось ему сплошной ложью, чередой самых непростительных ошибок, последствия которых нельзя предугадать. Джанин утверждала, что муки Флобера объясняются заметным для него, постоянно прогрессирующим и, как он думал, уже охватившим его мозг отупением. Как-то он сказал, что это похоже на погружение в песок. Вероятно, поэтому, полагала Джанин, во всех произведениях Флобера придает такое значение песку. Песок завоевывает все. Снова и снова, говорила Джанин, в ночных и дневных грезах Флобера беснуются песчаные бури, они собираются над сухими равнинами африканского континента, движутся на север, пересекают Средиземное море и Иберийский полуостров, оседают в виде пепла над садом Тюильри, над предместьем Руана или городком в Нормандии, проникают в малейшие щели и зазоры. В одной песчинке на подоле зимнего плаща Эммы Бовари, говорила Джанин, Флобер видел целую Сахару, и каждая пылинка весила для него не меньше, чем Атласские горы. Часто вечерами я беседовал с Джанин о мировоззрении Флобера, разговоры происходили в ее кабинете, заваленном таким количеством конспектов, писем и всевозможных печатных изданий, что бумажный потоп грозил погребсти вас под собой. На письменном столе (то ли в исходной, то ли в центральной точке мистического размножения бумаг) со временем возник настоящий бумажный ландшафт с горами и долинами, по краям стола ландшафт срывался вниз, подобно леднику, достигшему моря, и образовывал на полу пласты, незаметно перемещавшиеся к середине комнаты. Уже много лет назад бумажные массы, громоздившиеся на письменном столе, вынудили Джанин отступить за другие столы. Эти столы, где шли аналогичные процессы, представляли собой, так сказать, более поздние периоды в развитии бумажного универсума Джанин. Уже давно под многочисленными наслоениями бумаги исчез ковер, а бумага, скопившаяся на полу, растеклась вширь и снова начала взбираться на стены, покрытые до дверной притолоки разрозненными листками и документами, иногда это была страничка, приколотая за уголок единственной кнопкой, а иногда целые пачки скрепленных листов и документов. Да и на книжных полках, где только было можно, лежали стопы бумаги, и вся эта бумага в час сумерек стягивала к себе отблески закатного света. Как снег на полях, подумалось мне однажды, под чернильным ночным небом. Последним рабочим местом Джанин было кресло, выдвинутое более-менее на середину ее кабинета. Проходя мимо всегда открытой двери, я видел ее склонившейся над бюваром, который она держала на коленях, или откинувшей на спинку кресла и погруженной в раздумья. Как-то я сказал ей, что она среди своих бумаг напоминает мне ангела «Меланхолии», которого Дюрер изобразил неподвижно застывшим под орудиями разрушения, а она возразила, что кажущийся беспорядок в ее вещах в действительности как бы совершенный или все же стремящийся к совершенству порядок. И в самом деле, она обычно сразу же находила все, что разыскивала в своих бумагах или в своей памяти. Именно Джанин направила меня к известному хирургу Энтони Бэтти Шоу, с которым была знакома по Оксфорду, когда я, вскоре после выписки из больницы, начал наводить справки о Томасе Брауне. В XVII веке Браун имел врачебную практику в Норидже и оставил ряд сочинений, не сравнимых ни с чем в своем роде. В Британской энциклопедии мне попала статья, где говорилось, что череп Брауна хранится в музее больницы Норфолка и Нориджа. Казалось бы, утверждение это не вызывало сомнений, однако мои попытки увидеть череп там, где недавно лежал я сам, не увенчались успехом,

поскольку среди дам и господ нынешней администрации больницы не было никого, кто знал бы о существовании такого музея. Когда я излагал мое странное дело, на меня взирали с полным недоумением, у меня даже создалось впечатление, что некоторые из моих собеседников сочли меня надоедливым чудаком. Но зато я выяснил, что в эпоху оздоровления общества наша больница стала одним из так называемых гражданских госпиталей, при которых имелся музей, точнее, кунсткамера, где выкидыши, недоношенные младенцы, головы людей, умерших от водянки, гипертрофированные органы и т. п. сохранялись в сосудах с формалином в целях медицинской демонстрации и иногда выставлялись на обозрение публики. Оставалось выяснить, куда попали эти вещи. Что до больницы в Норидже и местонахождения Браунова черепа, то краеведческий отдел сгоревшей к тому времени Центральной библиотеки не мог сообщить мне никаких сведений. И только благодаря контакту с Энтони Бэтти Шоу (на него-то и указала Джанин) я получил желаемое разъяснение. Бэтти Шоу прислал мне свежий номер «Джурнал оф медикал байографи» со своей статьей, в которой писал, что после смерти в 1682 году в возрасте семидесяти семи лет Томас Браун был похоронен в приходской церкви Святого Петра в Мэнкрофте. Там его бранные останки покоились до 1840 года, когда при подготовке каких-то похорон почти в том же месте клироса был поврежден гроб и его содержимое частично обнаружилось. В результате этого происшествия череп Брауна и прядь его волос оказались во владении врача и церковного старосты Лаббока, а он в свою очередь завещал эти реликвии музею при больнице, где они экспонировались под специально изготовленным стеклянным колпаком среди прочих анатомических странностей до 1921 года. Именно тогда приход Святого Петра в Мэнкрофте, который неоднократно требовал вернуть череп Брауна на место, добился своего, и спустя почти четверть тысячелетия после первых похорон череп был со всей торжественностью погребен вторично. Браун сам наилучшим образом прокомментировал посмертные блуждания собственного черепа, в одном месте своего знаменитого, частью археологического, частью метафизического трактата о практике сожжения покойников и захоронения урн он пишет, что вытаскивать труп из могилы – это трагедия и мерзость. Но кто, вопрошает он, знает судьбу своего праха? Кто знает, как часто его будут хоронить?



Томас Браун появился на свет 19 октября 1605 года в Лондоне в семье торговца шелком. О детстве его мы знаем немного, а его жизнеописание едва ли объяснят нам, какое именно медицинское образование он получил после защиты магистерской диссертации в Оксфорде. Достоверно лишь то, что с двадцати пяти до двадцати восьми лет он посещал академии Монпелье, Падуи и Вены, знаменитые в то время своими медицинскими науками, а незадолго до возвращения в Англию получил степень доктора медицины в Лейдене. В январе 1632 года, то есть во время его пребывания в Голландии, когда он углубленнее, чем когда-либо, изучал тайны человеческого тела, в амстердамской Палате мер и весов было проведено публичное вскрытие трупа Адриана Адриансона, он же Арис Киндт, городского мошенника, за несколько часов до того повешенного за кражу. Хотя у нас нет однозначных доказательств, Браун, возможно, прочел объявление о вскрытии и присутствовал при этом сенсационном событии, которое Рембрандт запечатлел на групповом портрете гильдии хирургов; это тем более вероятно, что проводимая ежегодно в середине зимы анатомическая лекция доктора Николааса Тульпа вызывала огромный интерес не только у Брауна как начинающего медика. Она была важной датой в календаре тогдашнего общества, полагавшего, что оно выходит из тьмы на свет. С одной стороны, речь, несомненно, шла о платном зрелище, о демонстрации неустранимого стремления к научному прогрессу для состоятельной публики из высших сословий, с другой стороны (хотя, конечно, никто себе в этом не признавался), имел место архаический ритуал расчленения человека, истязание плоти преступника и после смерти, входящее в перечень назначаемых наказаний. О том, что Амстердамская анатомическая лекция была не просто попыткой более глубокого изучения человеческих внутренних органов, говорит запечатленный Рембрандтом церемониальный характер трупосечения (хирурги изображены в своих лучших нарядах, а доктор Тульп – даже в шляпе на голове), а также тот факт, что по окончании процедуры состоялся торжественный, в определенном смысле символический банкет.

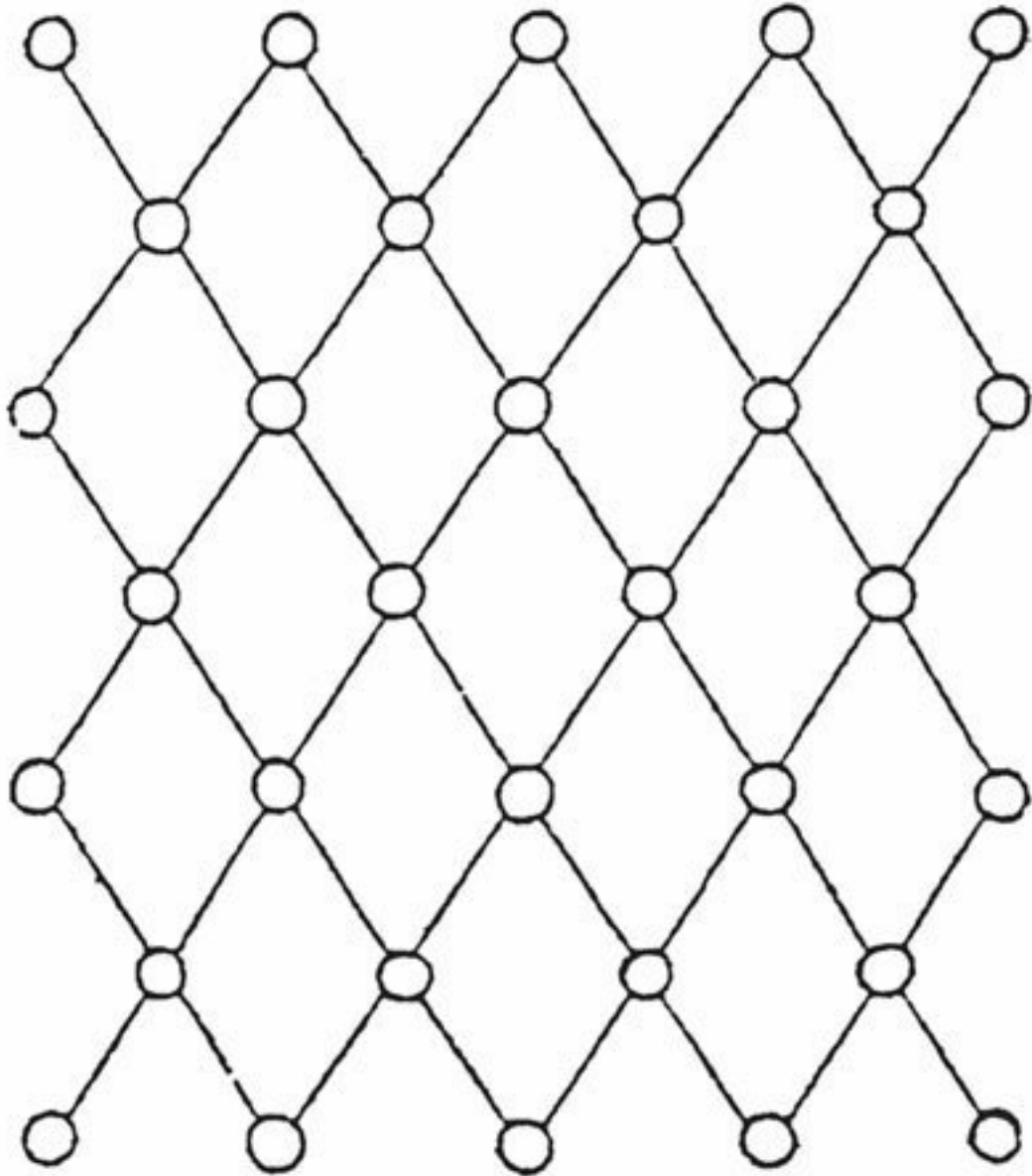


Стоя сегодня в музее Маурицхёйс перед анатомической картиной Рембрандта размером два на полтора метра, мы оказываемся на месте тех, кто в свое время наблюдал процедуру вскрытия в Палате мер и весов, и думаем, что видим то, что видели они: лежащий на переднем плане зеленоватый труп Ариса Киндта со сломанной шеей и выпирающей наружу в посмертном окоченении грудной клеткой. И все же сомнительно, что кто-нибудь и впрямь видел этот труп, ведь возникшее как раз тогда искусство вскрытия не в последнюю очередь стремилось сделать виновное тело невидимым. И что характерно: взгляды коллег доктора Тульпа направлены не на тело как таковое, но как бы чуть мимо, на раскрытый анатомический атлас, в котором жуткая телесность сведена к диаграмме, к схеме человека, как ее вообразил себе страстный анатом-любитель Рене Декарт, также присутствовавший в то январское утро в Палате мер и весов. Как известно, рассуждая о смирении перед Божественной мудростью, Декарт учил, что следует отвлечься от плоти и сосредоточиться на уже заложенной в нас машине, на том, что можно полностью понять, сделать полезным для работы и, при любых помехах, либо снова привести в движение, либо выбросить вон. Странной отторженности тела, как-никак выставленного на всеобщее обозрение, соответствует и то, что хваленая достоверность Рембрандтовой картины при ближайшем рассмотрении оказывается мнимой. Вопреки традиции изображенная здесь процедура начинается не с вскрытия живота и удаления кишечника, быстрее всего подвергающегося разложению, но с рассечения преступной руки (что также указывает, вероятно, на акт возмездия). И рука эта опять-таки своеобразна. Она не только гротескно непропорциональна по сравнению с рукой, ближней к зрителю, но совершенно искажена анатомически. Обнаженные сухожилия, которые, судя по положению большого пальца, располагаются на левой ладони, на самом деле – сухожилия тыльной стороны правой руки. Значит, речь идет о чисто технической накладке, о детали, попросту взятой из анатомического атласа, но из-за нее картина, написанная, так сказать, с натуры, именно в своем смысловом центре, там, где разрезы уже сделаны, оборачивается вопиюще неудачной конструкцией. То, что Рембрандт здесь как-то оплошал, вряд ли возможно. Мне, скорее, кажется, что он умышленно нарушил композицию. Изуродованная рука – знак насилия, совершенного над Арисом Киндтом. Художник отождествляет себя с ним, с жертвой, а не с гильдией, сделавшей ему заказ. У него одного нет застывшего картезианского взгляда, только он видит это угасшее, зеленоватое тело, видит тень на полуоткрытых губах и над глазом мертвеца.



Если Томас Браун, как я думаю, действительно находился среди зрителей Амстердамского анатомического театра, то из какой перспективы он наблюдал процедуру вскрытия? Что он видел? Судить трудно. Быть может, белую дымку, которую он в более поздней заметке (от 27 ноября 1674 года) описывает как туман над широкими просторами Англии и Голландии, поднимающийся из разверстого, вскрытого тела, и тут же, не переводя дыхания, Браун добавляет, что туман этот обволакивает при жизни наш мозг, когда мы спим и грезим. Я хорошо помню, как эта дымка заволокла мое сознание в тот вечерний час, когда я после операции вновь оказался в своей палате на девятом этаже больницы. Лежа на кровати с железной решеткой под чудесным воздействием болеутоляющих средств, я чувствовал себя как путешественник на воздушном шаре, невесомо парящий среди громоздящихся вокруг облаков. Иногда клубы тумана раздвигались, и я смотрел из-за этих кулис на широкие просторы цвета индиго и на подмостки, в которых угадывал землю, загадочную и черную. А вверху, на небосводе, сияли звезды, крошечные золотые точки, рассыпанные в пустоте. Сквозь грохот пустоты проникали в мой слух голоса двух сестер милосердия, которые считали мне пульс и смачивали рот маленькой розовой губкой, закрепленной на палочке и напоминавшей кубик рахат-лукума, какие раньше продавались на ярмарках. Вокруг меня порхали два прелестных создания, Кейти и Лиззи, и, думаю, редко бывал я счастлив так, как в ту ночь под их опекой. Из их разговоров о повседневных мелочах я не понимал ни слова. Я слышал только идущие вверх и вниз ноты, естественные звуки, дивные рулады и трели, какие вылетают из горла птиц, – то ли ангельскую музыку, то ли пение сирен. Из всего, что Кейти сказала Лиззи, а Лиззи – Кейти, в моей памяти сохранился лишь один странный фрагмент. Речь шла, насколько я помню, о каникулах на острове Мальта, и Лиззи (или Кейти) утверждала, что мальтийцы с непостижимым презрением к смерти не ездят ни по правой, ни по левой стороне, но всегда по теневой стороне улицы. И только на рассвете, когда ночные сестры сменились, я снова вспомнил, где нахожусь. Я начал ощущать свое тело, затекшую ногу, боль в спине, обратил внимание на звяканье тарелок в коридоре больницы, заметил, как осветилась высота и след реактивного самолета как бы сам собой перечеркнул клочок неба, обрамленный моим окном. Тогда я принял этот белый след за добрый знак, но теперь, оглядываясь назад, опасаясь, что он был началом трещины, идущей с тех пор через всю мою жизнь. Самолет, чертивший траекторию, был так же невидим, как пассажиры в его салоне. Невидимость и непостижимость того, что нами движет, была в конечном счете бездонной тайной и для Томаса Брауна, смотревшего на наш мир только как на силуэт иного мира. Постоянно размышляя и делая записи, он пытался рассмотреть земное существование, ближайšie к нему вещи и сферы универсума с точки зрения аутсайдера и, пожалуй, даже глазами Творца. А чтобы достигнуть необходимой для этого высоты, у него имелось единственное средство – чреватый опасностями высокий полет языка. Как и другие английские писатели XVII века, всю свою ученость Браун носит с собой, а это несметные сокровища цитат и имена всех предшествовавших ему авторитетов; он работает с метафорами и аналогиями, выходящими далеко за пределы обычных аналогий, и строит лабиринты тяжеловесных пассажиры, растекающихся подчас на две-три страницы и похожих на торжественные и траурные шествия. И пусть ему не всегда удается воспарить, в частности из-за огромного груза, но, когда он, вместе со своей кладью, поднимается выше и выше, несется по кругам своей прозы, как стриж, подхваченный теплыми течениями воздуха, тогда даже нынешний читатель испытывает чувство левитации. Чем дальше предмет, тем он лучше виден. Можно с величайшей отчетливостью рассмотреть мельчайшие детали. Как будто смотришь одновременно в перевернутую подзорную трубу и в микроскоп. И все же, говорил Браун, каждое познание окружено непроницаемой тьмой. Мы воспринимаем лишь разрозненные огни в бездне неведения, в мироздании, наполненном глубокими тенями. Мы изучаем порядок вещей, говорит Браун, но не постигаем того, что в нем заложено. Поэтому нашу философию мы имеем право писать только с маленькой буквы, стенографическими значками брэнной природы, на коих лежит лишь отблеск веч-

ности. Верный собственному замыслу, Браун чертит бесконечное, казалось бы, многообразие форм раз за разом повторяющегося узора. Например, в его трактате о саде Кира встречается так называемый квинкункс (quincunx) – пятерка, или шахматный порядок, образованный угловыми точками правильного четырехугольника и точкой пересечения его диагоналей.



*Quid Quincunxe Speciosius, qui, in  
quam cunq; partem Spectaueris,  
rectus est: Quintilian; //*

Повсюду в живой и мертвой материи Браун открывает эту структуру: в определенных кристаллических формах, в морских звездах и морских ежах; в позвонках млекопитающих, в скелете птиц и рыб, на чешуе разных видов змей; в крестообразных следах, оставленных четвероногими животными; в конфигурациях тел гусениц, бабочек, шелкопрядов и ночных мотыльков; в корне водяного папоротника, в шелухе подсолнечника и зонтичной сосны, внутри молодых побегов дуба или в стебле хвоща. Он находит квинкункс в произведениях человеческого искусства: в египетских пирамидах и в мавзолее Августа, точно так же как и в садах царя Соломона, где высаживались по шнуру гранатовые деревья и белые лилии. Можно бесконечно приводить доказательства того, как изящно природа строит геометрические формы, их неисчислимое множество, говорит Браун, однако в заключение трактата его мысль делает эффектный разворот. Созвездие Гиад, пишет он, этот квинкункс неба, уже опускается за горизонт, «and so it is time to close the five ports of knowledge. We are unwilling to spin out our thoughts into the phantasmes of sleep, making cables of cobwebs and wildernesses of handsome groves»<sup>5</sup>. Очень жаль, задумчиво приписывает он в самом конце, что Гиппократ в своих заметках о бессоннице так мало сообщил о чудесах растений, что мы едва решаемся грезить о рае, тем более что на практике нашего брата занимают в первую очередь отклонения от нормы. Природа порождает их постоянно – то в форме болезненных извращений, то путем едва ли менее болезненного фантазирования, заполняя каждое пустое место в своем атласе всевозможными уродствами. В самом деле, наше нынешнее естествознание стремится к описанию стройной системы; но, с другой стороны, наш взгляд притягивают создания, которые отличаются от прочих нелепой фигурой или сумасбродным поведением. Соответственно, уже в «Жизни животных» Брема почетные места отводятся крокодилу и кенгуру, муравье, броненосцу, морскому коньку и пеликану, а в наши дни на экране появляется, например, целая армия пингвинов, ведь всю полярную ночь пингвин неподвижно стоит в буранах Антарктики, держа на ногах яйцо, отложенное в более теплый сезон. Без сомнения, в программах типа «Нейчер уотч» или «Севайвл» скорее увидишь каких-нибудь монстров со дна озера Байкал в момент спаривания, чем обычного муравья. Вот и Томас Браун постоянно отвлекался от изучения изоморфной линии шахматного ряда, переключаясь на любопытные единичные феномены и труд по общей патологии. Между прочим, он, по слухам, долго держал у себя в кабинете живую выпь, так как хотел выяснить, каким образом возникает единственный во всей природе, похожий на самые низкие звуки фагота крик этого пернатого создания, даже чисто внешне чрезвычайно странного. В своем компендиуме «Лженаука суеверий» он занимается устранением расхожих предрассудков и легенд, описывая частью реальных, частью воображаемых существ, таких как хамелеон, саламандра, птица страус, гриф и феникс, василиск, единорог и двуглавая змея амфисбена. В большинстве случаев Браун опровергает существование сказочных существ, но причудливые бестии, о которых известно, что они и впрямь существуют, заставляют думать, что плоды нашего разгоряченного воображения взялись не из воздуха. Во всяком случае, из описаний Брауна следует, что бесконечные, превосходящие всякие границы разума мутации природы (как и порожденные нашим воображением химеры) восхищали его так же, как триста лет спустя они восхищали Хорхе Луиса Борхеса, издателя полной версии «Книги о вымышленных существах», впервые опубликованной в 1967 году. В алфавитном перечне этих фантастических существ, как я недавно заметил, упомянут так называемый Бальдандерс, с которым в шестой книге знаменитого сочинения Гриммельсгаузена встречается Симплиций. Бальдандерс в виде каменной статуи валяется в чаще леса, он одет в романтический солдатский мундир со швабским нагрудником и выглядит как старинный германский герой. Он заявляет, что проис-

<sup>5</sup> Так что пора закрывать все пять врат познания. Мы не намерены распускать наши мысли и предаваться снам, плетя узор из паутины и зарослей дремучего леса (англ.).

ходит из рая, что во все времена и дни невидимо находился при Симплиции и сможет покинуть его не прежде, чем тот станет тем, от кого он произошел. И тут Бальдандерс на глазах Симплиция превращается в писца, который пишет следующие строки:

Я есмь начало и конец и наступаю повсеместно.

## Ich bin der Anfang und das End und gelte an allen Orten.

Manoha · gilos, timad, ifaser, fale, iacob, falet,  
enni nacob idil dadele neuaco ide eges Eli neme  
meodi eledid emonatan desi negogag editor goga  
naneg eriden, hohe ritatan auilac, hohe ilamen e-  
riden diledi lifac usur sodaled aitar, amu salifono-  
nor macheli retorā; Vlidon dad amu ossōssōn,  
Gedal amu bede neuavv, alijs, dilede ronodavv  
agnoh regnoh cni taræ hyn lamini celotah, isis to-  
lostabas oronatah assis tobulu, V Viera saladid egri-  
vi nanon ægar rimi ni sifac, heliosole Ramelu o-  
nonor vvindelishi timinitur, bagoge gagoc hana-  
nor climitat.

Потом он превращается в большой дуб, в свинью, в жареную колбасу, в крестьянское дерьмо, в клеверный луг, в белый цветок, в тутовое дерево и в шелковый ковер. Для Симплиция в этом постоянном процессе пожирания и пожираемости нет ничего постоянного, как и для Томаса Брауна. На каждой новой форме уже лежит тень разрушения. Дело в том, что история каждого существа, история любой общности и история всего света движутся не по красивой дуге, взмывающей ввысь, но по некой орбите, которая, достигнув меридиана, ведет вниз, во тьму. Сама наука об исчезновении в кромешной тьме для Брауна неразрывно связана с верой, что в день воскресения мертвых, как в театре, завершатся последние вращения по орбите, преобразования, революции и все актеры еще раз выйдут на сцену «to complete and make up the catastrophe of this great piece»<sup>6</sup>. Врач, который видит, как в телах прорастают и беснуются болезни, постигает смертность лучше, чем цветение жизни. Ему кажется чудом уже то, что мы

---

<sup>6</sup> Чтобы красиво сыграть трагический финал этой великой пьесы (англ.).

держимся хотя бы один-единственный день. Против опиума стремительно уходящего времени еще не выросло лечебное зелье, пишет он. Зимнее солнце показывает, как быстро свет угасает в пепле, как быстро обнимает нас ночь. С каждым часом счет возрастает. Старее даже само время. Пирамиды, триумфальные арки и обелиски – это колонны из тающего льда. Даже те, что нашли свое место среди небесных созвездий, не могут держаться вечно. Нимрод исчез в Орионе, Осирис – в Сириусе. Самые великие роды едва ли пережили три поколения. Поставить свое имя на каком-то творении еще не значит гарантировать право на воспоминание о себе. Что, если как раз лучшие из людей исчезли без следа? Кто знает... Семя мака всходит повсюду, и, когда в один прекрасный летний день на нас неожиданно, как снег на голову, сваливается беда, мы желаем себе хотя бы забвения. По таким кругам движется мысль Брауна, и всего настойчивее она, вероятно, высказана в трактате 1658 года «Гидриотафия, или Погребение в урнах». Браун включается в полемику о сосудах с прахом, найденных как раз тогда в месте паломничества – поле под Уолсингемом в Норфолке. Опираясь на самые различные исторические и естественно-исторические источники, он рассуждает здесь о церемониях, с которыми мы сталкиваемся, когда кто-то из нас собирается в свой последний путь. Он начинает с нескольких замечаний о кладбищах журавлей и слонов, о погребальных камерах муравьев и траурных полетах пчел, провожающих своих мертвых из улья, затем описывает похоронные ритуалы многих народов вплоть до пункта, где христианская религия погребает грешное тело как целое, категорически избегая сожжения трупа. Браун убежден, что дохристианская, почти универсальная практика кремации не может быть объяснена (как это часто бывает) неведением язычников о предстоящей потусторонней жизни, о чем молчаливо свидетельствуют ели, тисы, кипарисы, кедры и другие вечнозеленые деревья, из ветвей которых в знак вечной надежды складывались погребальные костры. Впрочем, говорит Браун, вопреки общему мнению, сжечь человека нетрудно. Для Помпея хватило старого челнока, а королю Кастилии удалось почти без дров зажечь высокое, видное издали пламя из некоторого числа сарацин. Более того, добавляет Браун, если вязанки дров, нагруженной на Исаака, действительно хватило бы для всеобщего, для холокоста, то каждый из нас мог бы нести на плечах собственный погребальный костер. Рассуждение снова и снова возвращается к тому, что фактически обнаружилось на месте раскопок в поле под Уолсингемом. Поразительно, говорит Браун, как долго пролежали на глубине двух футов под землей тонкостенные глиняные сосуды. Их обошли лемеха плугов; их не повредили войны, в то время как большие дома, и дворцы, и уходящие в облака башни рушились и рассыпались в прах. Сохранившиеся в урнах останки: пепел, разрозненные зубы, фрагменты скелетов, обвитые, как венком, бледными корнями собачьей травы, – а также монеты, предназначенные в уплату Харону, были тщательно изучены. Браун скрупулезно перечисляет предметы, о которых ему было известно, что их погребали вместе с пеплом как оружие и украшение покойников. В составленном им каталоге встречаются самые разные редкости: нож, которым обрезали Иисуса Навина; кольцо возлюбленной Проперция; цикады и ящерицы из агата; рой золотых пчел; синие опалы; серебряные пряжки и застежки; гребни, щипцы и булавки из железа и рога, губная гармоника из латуни, звучавшая в последний раз при переправе через черную воду Леты. Но удивительнее всего находка в римской урне из коллекции кардинала Фарнезе – совершенно неповрежденный бокал, такой светлый, словно его только что изготовили в мастерской стеклодува. Эти и подобные вещи, пощаженные временем, становятся, по мнению Брауна, символами неразрушимости человеческой души, о которой говорится в Писании и в которой может усомниться врачеватель тела, даже если он тверд в своей христианской вере. И поскольку самый тяжкий камень меланхолии – это страх перед бесперспективным концом нашей природы, Браун ищет среди вещей, избежавших уничтожения, следы таинственной способности к трансмиграции, которую он так дотошно изучал на гусеницах и мотыльках. Пурпурный клочок шелка из урны Патрокла, что он означает?

## II

В пасмурный августовский день 1992 года я ехал к побережью на старой, заляпанной до самых оконных стекол сажей и машинным маслом дизельной автотрисе, которая тогда курсировала между Нориджем и Лоустофтом. Несколько моих спутников сидели в полутьме на потрепанных лиловых сиденьях; все они ехали лицом по направлению движения, как можно дальше отодвинувшись друг от друга, и хранили такое молчание, словно никогда в жизни не произнесли ни единого слова. Большую часть времени маршрутный вагон трясло, он двигался на холостом ходу, потому что дорога к морю почти всегда идет немного под гору. Лишь изредка, когда дизель внезапно включался, сотрясая весь кузов, слышался скрежет шестеренок, и мы под равномерный стук мотора, минуя задние дворы, огороды, свалки и склады, катили дальше, пересекая пустошь перед восточным пригородом Лоустофта. Дорога на Лоустофт идет через Бранделл, Бранделл-Гарденс, Бакенгем и Кантли, где в конце какой-то просеки в чистом поле, как пароход у волнолома, стоит завод по переработке сахарной свеклы, с дымящейся трубой. Там дорога делает поворот, следует по течению реки Яр в Ридеме, пересекает воду и, описав широкую дугу, ведет на плато, простирающееся к югу до самого берега моря. Ничто здесь не привлекает взгляда, разве что одинокий дом полевого сторожа, трава, заросли камыша, несколько поникших ветел и (как напоминание о погибшей цивилизации) груды трухлявых кирпичей – остатки бесчисленных ветряных насосов и мельниц, чьи белые крылья когда-то вращались над лугами Халвергейта и по всему побережью.

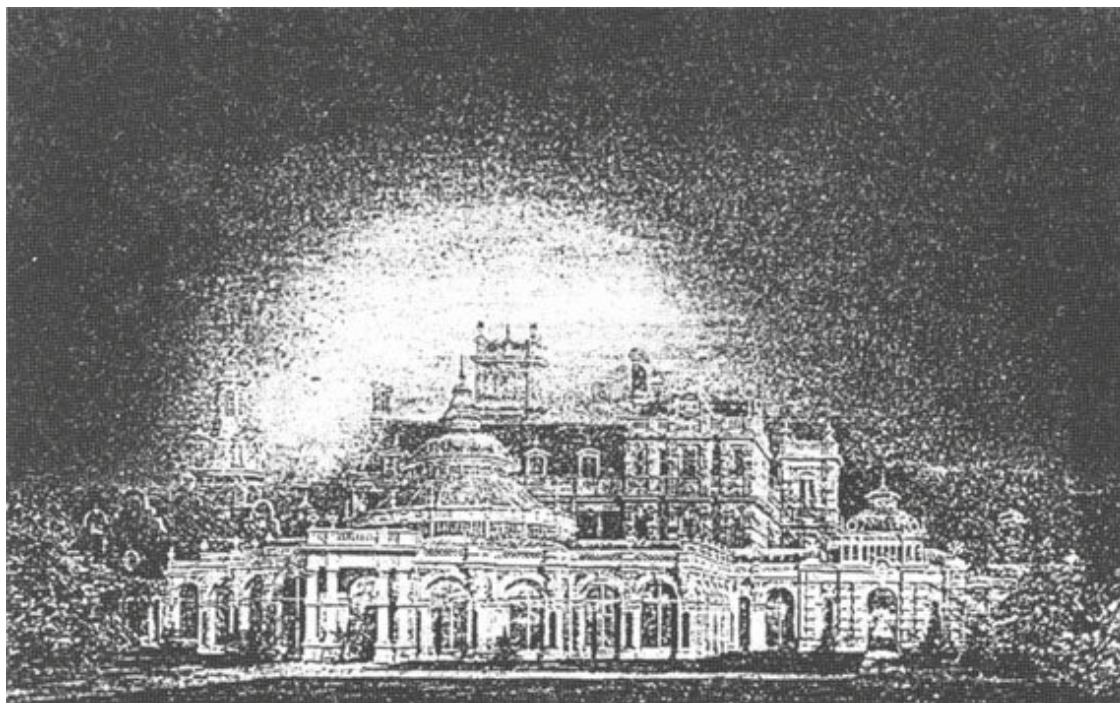


После Первой мировой войны, лет через десять, они были остановлены одна за другой. Мы уже даже не помним, сказал мне один знакомый, чье детство пришлось на время ветряных мельниц, что каждая мельница в этом пейзаже была как искорка в глазах написанного маслом портрета. Когда эти искорки угасти, вместе с ними в какой-то степени угастила и вся местность. Иногда, глядя на пейзаж, я думаю, что все здесь уже мертво. После Ридема мы сделали остановки в Хаддискоу и Херрингфлите, двух небольших поселках, где не было ничего

достопримечательного. На следующей остановке у сельского замка Сомерлейтон я вышел из автомотрисы. Она рванула с места и исчезла за поворотом, утащив за собой кривоватую черную полосу дыма. Вокзала здесь не было, только открытая станция: пустой перрон, по левую сторону как бы бесконечная пустошь, по правую сторону, за низкой кирпичной стеной, кусты и деревья парка. Нигде ни души, дорогу спросить не у кого. Раньше, думал я, надевая рюкзак и шагая по деревянному мостику через железнодорожный путь, все было иначе, ведь то, что требовалось владельцу такого замка, как Сомерлейтон, для поддержания своего социального статуса (увы, никогда полностью не гарантированного), приходилось привозить издалека. На этой станции останавливался паровоз оливкового цвета, и из его товарных вагонов выгружались всевозможные предметы обстановки. Чего только тут не было! Новое пианино, занавеси и портьеры, итальянская кафельная плитка и оборудование для ванных комнат, паровые котлы и водопроводные трубы для оранжерей, товары для сада и огорода, целые ящики рейнвейна и бордо, газонокосилки, и большие коробки с дамскими лифами на китовом усе, и кринолины из Лондона. А теперь ничего и никого, ни начальника вокзала в блестящей фуражке, ни носильщиков, ни кучеров, ни пассажиров с громоздким багажом, ни охотничьих компаний, ни господ в неизменном твиде, ни дам в элегантных дорожных костюмах. Одна секунда, часто думаю я, одна секунда ужаса, и целая эпоха исчезает навсегда. Нынче Сомерлейтон, как и большинство замков сельского дворянства в летние месяцы, открыт для посещений платежеспособной публики. Но эти люди не пользуются дизельными автомотрисами, они въезжают в главные ворота замка на личном автомобиле. Весь туристический бизнес, естественно, ориентирован на них. А тот, кто прибывает на станцию, как я, вынужден для начала обойти кругом все имение или перелезть через стену. Вот и мне пришлось, как садовому вору, продираться сквозь чащу парка. По выходе из парка меня ожидал как бы наглядный урок истории, которая иногда с некоторой самоиронией сама себя повторяет. Я увидел, что через поля проложена миниатюрная железная дорога, по ней движется паровозик, а в нем сидят человечки, похожие на переодетых собак или морских львов в цирке. На переднем сиденье, с сумкой через плечо, в роли кондуктора, машиниста и дрессировщика зверей в одном лице восседал теперешний лорд Сомерлейтон, шталмейстер ее величества королевы.

Поместье Сомерлейтон, в эпоху высокого Средневековья принадлежавшее Фицозбертам и Джернеганам, не раз переходило из рук в руки, иногда в результате женитьбы владельца, иногда по наследству. От Джернеганов оно перешло к Уэнтуортам, от Уэнтуортов к Гарни, от Гарни к Алленам, а от Алленов к Ангуишам, чья линия угасла в 1843 году. В том же году лорд Сидни Годольфин Озборн, потомок захиревшего рода, не пожелавший вступить в наследство, продал всю недвижимость некоему сэру Мортону Пито. Пито, поднявшийся из самых низов, начинал как подручный и помощник каменщика, а к тридцати годам, когда приобрел Сомерлейтон, он уже вскарабкался по социальной лестнице настолько высоко, что его причисляли к самым влиятельным предпринимателям и спекулянтам своего времени. Реализуя престижные проекты в Лондоне, такие как сооружение Хангерфордского рынка, Реформ-клуба, колонны Нельсона и нескольких театров в Уэст-Энде, он задавал совершенно новые масштабы бизнеса. Помимо этого, участие в финансировании сети железных дорог в Канаде, Австралии, Африке, Аргентине, России и Норвегии позволило ему в кратчайшие сроки нажать воистину огромное состояние. Теперь ему предстояло увенчать свое восхождение в высшие сферы общества сооружением сельской резиденции, которая должна была затмить все прежние образцы комфорта и экстравагантностью. И Мортон Пито действительно осуществил свою мечту – за несколько лет он воздвиг на месте снесенного старого помещичьего дома княжеский дворец в так называемом англо-итальянском стиле и полностью обставил его. Уже в 1852 году в «Иллюстрейтед Лондон ньюс» и других задающих тон журналах появились пространные отчеты о недавно возведенном Сомерлейтоне. Особую славу замка составляла незаметность переходов между интерьером и внешним миром. Посетители затруднялись сказать, где кончалось создан-

ное природой и начиналось произведенное искусством. Салоны сменялись зимними садами, просторные фойе, полные света и воздуха, – верандами. Коридоры переходили в заросшие папоротником гроты с круглосуточно плещущими фонтанами, тенистые аллеи пересекались под куполом фантастической мечети. Опускающиеся рамы открывали вид из окна, и внутри помещения на зеркальных стенах появлялся пейзаж. Пальмовые оранжереи и просто оранжереи, газон, неотличимый от зеленого бархатного покрывала, обивка бильярдных столов, букеты в комнатах утреннего и послеполуденного отдыха и в вазах из майолики на террасе, райские птицы и золотые фазаны на шелковых обоях, щеглы в вольерах и соловьи в саду, орнаменты ковров и цветочные клумбы, окруженные живыми изгородями, – все это сменялось и переливалось, создавая иллюзию полной гармонии между естественным ростом и фабрикацией. Сам Кольридж в опиумной дремоте не смог бы нарисовать более волшебную сцену для своего монгольского Кубла Хана. А теперь представьте себе, продолжает репортер, что однажды во время вечернего приема вы вместе с близкой вам особой поднялись на колокольню Сомерлейтона, стоите на самой верхней галерее, и вас задевает крыло бесшумно пролетающей мимо ночной птицы! Легкий бриз доносит снизу одуряющий аромат липовой аллеи, под вами крутой каскад синих черепичных крыш, а в белоснежном сиянии стеклянных оранжерей отражаются черные поверхности газона. Дальше в парке угадываются тени ливанских кедров; в оленьем саду, открыв один глаз, спят пугливые лани, а по ту сторону внешней ограды до самого горизонта простирается равнина и хлопают крылья ветряных мельниц.



На нынешнего посетителя Сомерлейтон больше не производит впечатления сказочного восточного дворца. Стеклопальные галереи и пальмовая оранжерея, чей высокий купол некогда освещал ночи, сгорели уже в 1913 году от взрыва газа, а потом были снесены. Слуги, приводившие все в порядок и державшие все в исправности, дворецкие, кучера, шоферы, садов-

ники, поварихи, портнихи и горничные, давно уволены. Анфилады комнат кажутся нежилыми и пыльными. Бархатные портьеры и бордовые гардины выцвели, мягкая мебель протерлась, лестничные площадки и коридоры, по которым вас ведет смотритель, заставлены ненужным, вышедшим из употребления хламом. В дорожном сундуке из камфарного дерева (с ним прежний владелец дома когда-то ездил в Нигерию или Сингапур) лежат крокетные молотки и деревянные шары, клюшки для гольфа, бильярдные кии и теннисные ракетки, такие маленькие, словно они предназначались для детей или ссохлись от времени. По стенам развешаны медные котлы, ночные вазы, гусарские сабли, африканские маски, копья, охотничьи трофеи из Африки, раскрашенные гравюры времен Бурской войны – «Battle of Pieters Hill and Relief of Ladysmith: A Birds-Eye view from an Observation Balloon»<sup>7</sup> – и несколько фамильных портретов, написанных, вероятно, между 1920 и 1960 годами каким-то художником, имевшим отношение к модернизму. Лица на портретах приобрели гипсовый оттенок и подернулись жуткими багряными и фиолетовыми пятнами. В вестибюле стоит трехметровое чучело белого медведя. Стоит и смотрит на вас из своей желтоватой, траченной молью шкуры, словно согбенное скорбью привидение. Бродя по открытым для посетителей помещениям Сомерлейтона, вы подчас и впрямь не совсем понимаете, где очутились: то ли в помещицьем доме в Суффолке, то ли в каком-то отдаленном почти необитаемом месте на берегу Северного моря или в сердце Черного континента. Затруднительно даже сказать, в каком вы оказались десятилетии или столетии, ведь здесь скопилось и продолжает соседствовать столько эпох. Когда я в тот августовский день с небольшой группой экскурсантов странствовал по Сомерлейтон-холлу, мне все время приходил на ум ломбард или пункт приема утильсырья. Но как раз избыточность этого имущества, этих накопленных поколениями вещей, этих сплошных, в конечном счете, нелепостей, их обреченность, готовность к распродаже с молотка вызывали у меня сострадание. Каким отталкивающим, подумал я, показался бы мне Сомерлейтон во времена крупного предпринимателя и депутата парламента Мортон Пито, когда весь замок, от подвала до чердака, от столовых сервизов до отхожих мест, вплоть до самой крошечной мелочи, был новеньким, с иголки, продуман и выполнен с самым безупречным вкусом. И каким красивым кажется мне этот дом сегодня, хотя он стоит на краю гибели, тихо и незаметно приближаясь к разорению. Но когда я, обойдя дом, снова вышел на воздух, меня ждала мрачная картина. В одном из вольеров (большинство из них было открыто) я заметил одинокую китайскую перепелку, явно в состоянии беспамятства. Она бегала туда-сюда вдоль правой решетки своей клетки и каждый раз, поворачивая в другую сторону, трясла головой, словно не понимая, почему оказалась в таком безвыходном положении.

---

<sup>7</sup> Битва у Питере-Хилла и освобождение Ледисмита: вид с высоты птичьего полета, запечатленный с наблюдательного аэростата (англ.).



В отличие от постепенно деградирующего дома окружающие его зеленые насаждения в наши дни, через сто лет после блистательной эпохи Сомерлейтона, достигли пика своей эволюции. Правда, рабатки и клумбы прежде были более красочными и ухоженными, зато деревья, посаженные Мортонем Пито, заполнили теперь все воздушное пространство над садом, кедры, уже тогда восхищавшие посетителей, раскинули ветви над площадью почти в четверть моргена, являя собой целые самостоятельные миры. Рядом росли секвойи высотой более шестидесяти метров и редкостные сикоморы, чьи нижние ветви опустились на газон и вросли в землю там, где ее коснулись, чтобы снова устремиться ввысь, полностью замкнув круг. Легко было себе представить, что здешние платаны разбегутся по местности, как концентрические круги по воде, а когда займут всю округу, постепенно ослабеют, скукожатся и сгниют изнутри. Некоторые из белоствольных деревьев нависали над парком, подобно облакам. Другие отличались глубокой, непроницаемой зеленью листвы. Их кроны возвышались друг над другом в форме террас, и, если немного прищуриться и напрячь зрение, могло показаться, что вы любуетесь горным хребтом, покрытым огромными лесами. Но самым густым и зеленым оказался лабиринт тисов в центре этого таинственного пейзажа. Просветы между живыми изгородями вели в тупики, и я так основательно заблудился, что выбрался из лабиринта только тогда, когда догадался оставлять каблук сапога черту на белом песке перед каждым поворотом. Позже, в одной из теплиц, пристроенных к кирпичным стенам огорода, я разговорился с Уильямом Хейзелом, садовником, который сегодня ухаживает за парком Сомерлейтона с помощью необученных подсобных рабочих. Узнав, откуда я родом, он начал мне рассказывать, что в старших классах школы и в последующие годы, будучи учеником садовника, он очень интересовался воздушной войной, которая после 1940 года велась против Германии с шестидесяти семи аэродромов Восточной Англии. Люди не представляют себе масштабов этой операции, говорил Хейзел. Один только Восьмой воздушный флот за тысячу и девять дней войны использовал миллиард галлонов бензина, сбросил семьсот тридцать две тысячи тонн бомб, потерял почти девять тысяч самолетов и пятьдесят тысяч человек. Каждый вечер над Сомерлейтоном пролетали эскадры бомбардировщиков; каждую ночь, засыпая, я представлял себе, как рушатся в пламени немецкие города, как огненные бури грохочут в небе и как копошатся среди развалин оставшиеся в живых люди. Однажды лорд Сомерлейтон, рассказывал Хейзел, заглянул ко мне сюда, в эту теплицу. Я как раз обрезал виноградные лозы, а он от нечего делать

мне помогал. Лорд завел разговор о стратегии ковровых бомбардировок, практикуемой союзниками, а потом принес большую карту Германии, где все названия, о которых сообщалось по радио в последних известиях, были напечатаны странным шрифтом. И тут же рядом имелись символические изображения населенных пунктов. Большее или меньшее число фронтонов, зубцов и башен соответствовало числу жителей, а в случае крупных городов изображались еще и достопримечательности, например Кёльнский собор, старая ратуша во Франкфурте, статуя Роланда в Бремене. Эти картинки величиной с почтовую марку напоминали рыцарские замки, я и в самом деле представлял себе тогда Германский рейх как какую-то средневековую, невероятно загадочную страну. Я снова и снова изучал по своей карте разные области Германии от польской границы до Рейна, от зеленых равнин Севера до темно-коричневых Альп, кое-где покрытых льдом и снегом. Я по буквам запоминал названия городов, о разрушении которых только что услышал по радио: Брауншвайг и Вюрцбург, Вильгельмсхафен, Швайнфурт, Штутгарт, Пфорцхайм, Дюрен и десятки других. Так я выучил наизусть всю страну, она, можно сказать, прожгла меня, оставила на мне свое клеймо. Во всяком случае, с тех пор я пытаюсь разузнать все, что связано с той воздушной войной. В начале пятидесятых, когда я служил в оккупационных войсках в Люнебурге, я даже немного выучил немецкий. Думал, что смогу прочесть то, что писали сами немцы о бомбардировках и о своей жизни в разрушенных городах. К моему изумлению, мне пришлось вскоре убедиться, что поиск таких сообщений всякий раз оказывался безуспешным. Как будто никто тогда ничего не записал и ни о чем не вспоминал. И даже расспрашивая людей лично, я выносил впечатление, что у них в голове все как бы стерлось. А я еще и сегодня не могу сомкнуть глаз, пока не представлю себе, как эскадры бомбардировщиков «Ланкастер» и «Галифакс», истребителей и так называемых летающих крепостей летят в Германию над серым Северным морем, а на рассвете, рассредоточившись, возвращаются домой. Я был свидетелем, рассказывал Хейзел, сметая срезанные побеги винограда, как в начале 1945 года, незадолго до конца войны, здесь, над Сомерлейтоном, разбились два американских истребителя. Я как раз помогал отцу на колокольне (по сути, это водонапорная башня), где требовалось что-то срочно подремонтировать. Закончив работу, мы поднялись на обзорную площадку, откуда можно было видеть всю береговую полосу. Не успели мы осмотреться, как оба летчика, возвращавшиеся с ночного патрулирования, затеяли, я думаю, просто от скуки dog fight<sup>8</sup> над поместьем Сомерлейтон. Нам были хорошо видны лица летчиков в стеклянных кабинах. Машины с ревом гонялись друг за другом в сияющем весеннем воздухе, пока их несущие плоскости случайно не соприкоснулись концами. «It had seemed like a friendly game, – сказал Хейзел, – and yet now they fell, almost instantly»<sup>9</sup>. Когда они исчезли за белыми тополями и ветлами, что-то во мне напряглось в ожидании удара. Но не было ни пламени, ни языков дыма. Море поглотило их безмолвно. «It was years later that we pulled them out. Big Dick one of them was called and the other Lady Loreley. The two pilots, Flight Officers Russel P. Judd from Versailles/ Kentucky and Louis S. Davies from Athens/Georgia or what bits und bones had remained of them, were buried here in the grounds»<sup>10</sup>.

Распрошавшись с Уильямом Хейзелом, я отправился из Сомерлейтона в Лоустофт, и мне понадобилось больше часа, чтобы пройти пешком по проселочной дороге и миновать большое, похожее на укрепленный город здание тюрьмы в Бландестоне, где отбывают наказание примерно двенадцать сотен заключенных. Я добрался до Лоустофта в седьмом часу вечера. На длинных улицах не было ни единой живой души, и чем ближе к центру, тем больше угнетало меня то, что я видел.

<sup>8</sup> Свара (англ.).

<sup>9</sup> Это было похоже на веселую игру, а потом они вдруг упали, почти одновременно (англ.).

<sup>10</sup> Мы потом их достали, много лет спустя. Один самолет назывался «Большой Дик», а другой – «Леди Лорелея». Пилоты – Рассел П. Джэдд из Версаля, штат Кентукки, и Луис С. Дэвис из Афин, штат Джорджия. Чего уж там от них осталось, какие кости и клочья, все здесь и похоронили (англ.).



Последний раз я приезжал в Лоустофт лет пятнадцать назад с двумя детьми, гулял в июньский день по набережной и вроде бы сохранил воспоминание о немного захолустном, но, впрочем, очень симпатичном городке. Поэтому теперь, войдя в Лоустофт, я не постигал, как можно было так деградировать в столь короткий срок. Разумеется, я знал, что неотвратимый упадок Лоустофта начался с тяжелых экономических кризисов и депрессий тридцатых годов, но примерно в 1975 году, когда из Северного моря выросли буровые вышки, оживились и надежды на поворот к лучшему. Эти надежды, возлагаемые на реальный капитализм в эпоху баронессы Тэтчер, раздувались все больше, пока, наконец, не лопнули, захлебнувшись в биржевой лихорадке. Подобно подземному пожару или беглому огню, убытки пожрали все и вся, судовые верфи и фабрики закрылись одна за другой, и теперь существование Лоустофта оправдывает лишь то, что он является самым восточным населенным пунктом на карте Британских островов. Сегодня на многих улицах города почти каждый второй дом выставлен на продажу; предприниматели, торговцы и частные лица все глубже погружаются в долги; каждую неделю вешается какой-нибудь безработный или банкрот; безграмотна уже четверть населения, и постоянно растущему обнищанию не видно конца. Хотя все это было мне известно, отчаяние, охватывающее человека в Лоустофте, застало меня врасплох. Одно дело – прочесть в газетах о так называемых *unemployment blackspots*<sup>11</sup>, и совсем другое – брести темным вечером мимо рядов унылых домов с изувеченными фасадами и уродливыми палисадниками. В центре я не нашел ничего, кроме игровых салонов, лотерейных залов, брокерских киосков, видеосалонов, пабов, где из темных дверных проемов несло кислым пивом, магазинов удешевленных товаров и сомнительных заведений типа «постель-и-завтрак» под вывесками «На дне океана», «Морская волна», «Резиденция шотландской королевы», «Альбион» и «Лейла Лоррейн». Трудно было представить себе одиноких туристов и коммивояжеров, которые захотели бы сюда войти. Трудно было, поднимаясь в отель «Виктория» по лестнице, окрашенной синей

---

<sup>11</sup> Зоны безработицы (англ.).

масляной краской, согласиться с тем, что это и есть тот самый отель на набережной, чье великолепие расписывал мой путеводитель, изданный в начале прошлого века. Я довольно долго торчал в пустом вестибюле и бродил по совершенно заброшенным комнатам, хотя был пик туристического сезона (если речь вообще могла идти о туристическом сезоне в Лоустофте), прежде чем наткнулся на испуганную молодую женщину, которая несколько раз безуспешно пролистала книгу записи постояльцев, после чего вручила мне тяжелый ключ от номера, прицепленный к деревянной груше. Мне бросилось в глаза, что она была одета по моде тридцатых годов и избегала смотреть мне в глаза. Ее взгляд все время был опущен долу или направлен сквозь собеседника, словно меня тут вообще не было. Позже, когда я сидел в большой столовой, где был единственным гостем, та же испуганная особа приняла у меня заказ и вскоре принесла мне рыбу, каковая явно много лет назад была похоронена в холодильнике, так что я с некоторым трудом вонзил зубцы своей вилки в ее панированный панцирь, местами подпаленный. В самом деле, я прилагал такие усилия, дабы проникнуть вовнутрь этого предмета, состоящего, как выяснилось, только из жесткой оболочки, что после этой операции моя тарелка являла собой ужасающее зрелище. Соус тартар, который мне пришлось выдавливать из пластикового тюбика, окрасился в серый цвет крошками подгоревшей булки, а сама рыба или то, что должно было ее представлять, развалилась пополам под зеленым, как трава, горошком и остатками блестящих от жира чипсов. Не помню, сколько времени я просидел в столовой, оклеенной бордовыми обоями, прежде чем заторможенная юная дама (видимо, она одна исполняла всю работу) вынырнула из тени сгустившихся сумерек, чтобы убрать со стола. Может быть, она явилась сразу, как только я отложил в сторону столовый прибор, а может быть, лишь через час. Помню только, что она наклонилась над моей тарелкой и из выреза ее блузки выползли на шею алые пятна. Когда она упорхнула прочь, я встал и подошел к полукруглому панорамному окну. Оттуда открывался вид на морской берег, не темный, но уже не светлый, и все было неподвижно, в воздухе, на земле и на воде. Даже белоснежные валы в бухте и те, казалось, замерли.



Когда утром с рюкзаком за плечами я покидал отель «Виктория», Лоустофт под безоблачным небом снова ожил. Пройдя мимо порта, где стояли на якорю десятки отслуживших свой срок и безработных катеров, я двинулся на юг по улицам города, днем забитым пробками и пропитанным синими бензиновыми парами. Один раз в непосредственной близости от центрального вокзала (построенного в прошлом столетии и с тех пор ни разу не отремонтированного) среди прочих машин скользнул мимо черный лакированный лимузин с венками на крыше. Внутри с серьезными физиономиями сидели двое служащих похоронного бюро, шофер и его напарник, за ними, на грузовой, так сказать, платформе покоился гроб, а в нем – человек

в воскресном костюме, по всей вероятности, недавно ушедший из жизни: голова на маленькой подушке, ресницы смежены, руки сложены на груди, носки туфель направлены вверх.



Пока я глядел вслед катафалку, мне вспомнился один парнишка, подмастерье из Туттлингена. Много лет назад он присоединился в Амстердаме к похоронной процессии известного коммерсанта и во время погребения с почтением и чувством выслушал надгробную проповедь голландского священника, из которой не понял ни слова. Но если раньше он завидовал и восхищался, разглядывая чудесные тюльпаны, левкой и астры на подоконниках или глаза в порту на доставленные из Ост-Индии ящики, тюки и бочки с чайным листом, сахаром, пряностями и рисом, то теперь он начал задавать себе вопросы. Я ведь тоже много странствовал по свету, думал он. Почему же я до сих пор почти ничего не добился? И тут он каждый раз вспоминал амстердамского коммерсанта, которого проводил в последний путь, его большой дом, его богатый корабль и его такую тесную могилу. С этой историей в голове я покидал город, отмеченный всеми следами ползучего маразма. А ведь в эпоху процветания он считался не только одним из крупнейших рыболовецких портов Соединенного Королевства, но и *most salubrious*<sup>12</sup> морским курортом, известным даже за границей. Тогда, во второй половине XIX века, на другом берегу реки Уэйвни под чутким руководством Мортон Пито возник так называемый южный город с рядами отелей, отвечающих требованиям самых аристократических кругов Лондона, а рядом с отелями появились крытые галереи и павильоны, церкви и часовни на любой вкус, публичная библиотека, бильярдный зал, чайный домик, похожий на храм, трамвайная линия с роскошным депо, широкая эспланада, аллеи, площадки для боулинга, ботанические сады и бассейны с пресной и морской водой, были учреждены комитеты по благоустройству. Лоустофт, писала тогда одна газета, в кратчайший мыслимый срок занял первое место в общественном мнении

---

<sup>12</sup> Самый благотворный (англ.).

и теперь располагает всеми сооружениями, необходимыми для модного курорта. Достаточно взглянуть на постройки, возведенные на южной набережной, продолжает автор статьи, чтобы в элегантности и законченности здешнего архитектурного ансамбля отчетливо увидеть благотворное воздействие разума, пронизывающее все: от общего замысла до последней мельчайшей детали. Венцом этого во всех отношениях образцового проекта считался пирс, уходящий на четыреста метров в Северное море, пожалуй, самый прекрасный мол на всем восточном побережье. На прогулочном помосте из досок африканского красного дерева были установлены белые строения, освещаемые после наступления темноты газовыми лампами. В том числе там находился читальный и концертный зал, оборудованный высокими настенными зеркалами. Каждый год в конце сентября по окончании регаты здесь устраивался благотворительный бал под патронатом одного из членов королевского дома. Об этом мне рассказывал мой сосед Фредерик Фаррар, скончавшийся несколько месяцев назад. Фаррар появился на свет в 1906 году (с большим опозданием, как он однажды выразился в беседе со мной) здесь, в Лоустофте. Он рос, окруженный заботой и попечением трех красавиц-сестер Вайолет, Айрис и Роуз, пока его в начале 1914 года не отправили в так называемую подготовительную школу под городком Флор в Нортгемптоншире. Боль разлуки долго мучила меня, особенно перед сном и во время уборки, вспоминал Фредерик Фаррар, но преобразилась в душе в какую-то извращенную гордость, когда в самом начале второго года обучения мы, стоя у западного фасада школы, слушали патриотическую речь нашего директора о тайных причинах и высоком смысле войны, разразившейся во время каникул. Когда речь закончилась, один воспитанник, Фрэнсис Браун его звали, сыграл зорю на трубе. В жизни этого не забуду, сказал Фредерик Фаррар. С 1924 по 1928 год по желанию отца (отец его был нотариусом в Лоустофте и долгое время служил консулом в Дании и в Османской империи) Фредерик изучал право в Кембридже и Лондоне, а затем больше полувека служил в адвокатских конторах и судах. Рассказывал он об этом с каким-то ужасом. В Англии судьи, как правило, остаются в должности до весьма преклонного возраста, вот и Фредерик Фаррар вышел в отставку только в 1982 году, когда приобрел дом по соседству с нами, чтобы полностью посвятить себя разведению редких роз и фиалок. О том, что ирисы также относились к числу его предпочтений, не стоит, собственно, и упоминать. Ради этих цветов (он разводил десятки сортов) Фредерик Фаррар вместе со своим неизменным помощником заложил сад, который считался самым красивым в округе. В последнее время, после инсульта, он стал очень беспомощным, и я часто сживал с ним в этом саду, слушая его рассказы о Лоустофте и прошлом. В том же саду Фредерик Фаррар встретил свою смерть, в чудесный майский день, когда он во время утреннего обхода умудрился каким-то образом поджечь свой халат зажигалкой, которую всегда носил в кармане. Помощник нашел его через час, Фредерик лежал без сознания с тяжелыми ожогами по всему телу, в прохладном тенистом месте, где разрослась, образуя настоящую колонию, *Viola Labradorica* с ее почти черными листьями. В тот же день он скончался от ожогов. Во время похорон на маленьком кладбище в Фрамингем-Эрле я все время вспоминал о юном трубаче Фрэнсисе Брауне, сыгравшем зорю летом 1914 года на школьном дворе в Нортгемптоншире, и о белом пирсе Лоустофта, который так далеко вдавался в море. Фредерик Фаррар рассказывал, что в те вечера, когда устраивался благотворительный бал, простой народ, не имевший, разумеется, доступа на подобное мероприятие, подгребал к концу пирса на сотнях челноков и лодок и со своих мягко покачивающихся и иногда немного дрейфующих наблюдательных пунктов глазел на высшее общество, кружащееся под звуки оркестра. Казалось, оно парит в ночи над темной водой, затянутой клубами тумана, ведь уже стоял сентябрь и начиналась осень. Когда я оглядываюсь назад, сказал мне однажды Фредерик Фаррар, я вижу все как бы за развевающимися белыми занавесками: город со стороны моря; сбегаящие к берегу виллы, окруженные деревьями и кустами; летний свет и набережную. Мы как раз возвращаемся с прогулки домой: впереди отец и двое-трое господ в закатанных до колен брюках; мама, одна, с зонтиком; сестры с подобранными юбками;

а за ними слуги с осликом, нагруженным корзинами, между которыми сию я. Однажды, много лет назад, сказал Фредерик Фаррар, мне даже приснилась эта картина, и наше семейство напоминало маленький двор Якова Второго в изгнании на набережной Гааги.

### III

В трех-четырёх милях к югу от Лоустофта береговая линия идет широкой дугой, слегка вдаваясь в сушу. С тропы, ведущей через поросшие травой дюны и низкие скалы, виден пляж с плоскими галечными отмелями. Я уже не раз имел случай убедиться, что на этом пляже в любое время дня и ночи и в любое время года возникают разного рода пристанища, вроде палаток из жердей и веревок, парусины и брезента. Они располагаются вдоль берега длинной цепочкой на почти равном расстоянии друг от друга. Впечатление такое, словно последние остатки какого-то кочевого народа остановились здесь, на краю света, в ожидании испокон века чаемого чуда, которое задним числом оправдает все лишения и заблуждения.



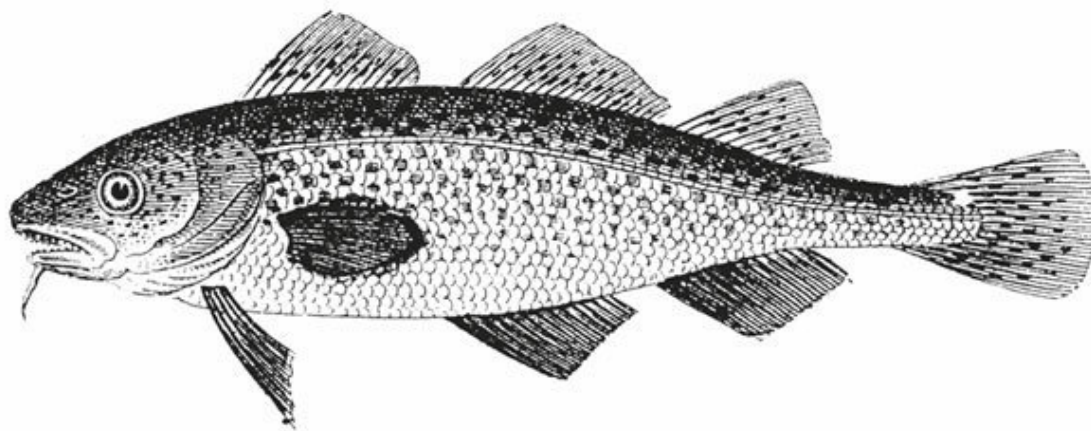
На самом же деле те, кто днюют и ночуют на этом берегу под открытым небом, отнюдь не прибыли из далеких стран и пустынь. Речь идет о здешних жителях из ближайших окрестностей, которые по старой привычке глядят со своих рыбацких мест на постоянно меняющееся море. Число их странным образом остается почти неизменным. Стоит одному свернуть свой бивак, его место тут же занимает другой, вот почему сообщество рыбаков, которые целый день дремлют и целую ночь бодрствуют, не меняется годами. Похоже, что в такой форме оно существует с незапамятных времен. Рыбак очень редко вступает в контакт со своим соседом. И пусть все они устремляют взгляд на восток и все одновременно видят, как на горизонте опускается вечер и занимается рассвет, и пусть их (как я думаю) переполняют одни и те же непостижимые чувства, каждый из них существует сам по себе, каждый полагается только на себя и на несколько предметов своего снаряжения, например на перочинный ножик, термос или маленький транзистор, из которого едва слышно доносится шаркающий шорох, как будто беседуют камни, увлекаемые волнами. Не думаю, что эти мужчины днем и ночью сидят у моря, чтобы не прозевать момент, когда пройдет мерлан, поднимется речная камбала или к берегу подойдет треска. Они так говорят, но я считаю, они просто хотят находиться в таком месте, где весь мир оказывается позади, а впереди нет ничего, кроме пустоты. В самом деле, сегодня с берега почти ничего не поймашь. С тех пор как ловля перестала окупаться, суда, на которых прежде рыбаки выходили в море, исчезли, а рыбаки вымерли. Их наследство никого не интересовало. Там и сям натыкаешься на кладбища кораблей, где рассыхаются бесхозные лодки и ржавеют в

соленом воздухе бухты металлических тросов. В открытом море рыбная ловля продолжается, хотя и там уловы падают, не говоря уж о том, что доставленная на берег добыча годится разве что на рыбную муку. Тысячи тонн ртути, кадмия и свинца, горы удобрений и пестицидов год за годом выносятся реками и течениями в Северное море. Большая часть тяжелых металлов и прочих токсичных субстанций оседает на мелях Доггер-банка, и треть рыбной популяции появляется теперь на свет со странными уродствами и заболеваниями. Все больше ядовитых водорослей обнаруживается у побережья, их поля простираются на много квадратных миль и уходят в глубину на тридцать футов, и морские животные околевают целыми косяками. Женские особи некоторых редких видов камбалы, карася и окуня странным образом мутируют, так что их половые органы обнаруживают мужские признаки. Они исполняют ритуалы, связанные с размножением, только как танец смерти. А мы-то выросли с представлением о разнообразии органической жизни, о ее изумительной способности к самовоспроизведению. Не зря же в начальной школе любимым учебным пособием всегда была сельдь, главная, так сказать, эмблема принципиальной неистребимости природы. Вспоминаю один из тех короткометражных, испещренных черными полосками фильмов, какие в пятидесятых годах учителя могли брать напрокат в окружных фильмотеках. Там был показан рыболовный катер из Вильгельмсхафена, идущий среди темных волн, вздымающихся до верхнего края экрана. Вроде бы ночью он закинул сеть и ночью же ее вытянул. Все происходило в кромешной тьме. Белели только тушки лежавшей на палубе рыбы. Гора рыбы и гора соли, с которой ее перемешивали. Вспоминая этот учебный фильм, я вижу мужчин в блестящих черных непромокаемых костюмах. Мужчины героически трудятся, невзирая на морские волны, заливающие палубу, поскольку лов сельди – классическое поле битвы человека с всемогущей природой. В конце фильма катер направляется в родную гавань, а лучи закатного солнца пробиваются сквозь облака, заливая своим блеском тихое, утомившееся море. Один из моряков, свежeweымытый и причесанный, играет на губной гармошке. Капитан стоит у штурвала и с чувством ответственности смотрит в светлую даль. В эпилоге показана выгрузка улова и работа в цехах. Ловкие женские руки разбирают сельдь, сортируют по размеру и забивают в бочки. Потом товарные вагоны железной дороги «подбирают беспокойную странницу морей, чтобы отвезти ее туда, где окончательно исполнится ее судьба на этой земле». Именно так говорится в приложенной к фильму программке 1936 года, которую мне недавно удалось раздобыть. Другой источник, «Естественная история», изданная в Вене в 1857 году, сообщает, что в весенние и летние месяцы миллионные косяки сельди поднимаются из темных глубин Северного моря и, наслаиваясь друг на друга, нерестятся в прибрежных водах и на морских отмелях. Каждая самка сельди мечет семьдесят тысяч икринок.



Если бы все сельди беспрепятственно размножились, то, по подсчетам Бюффона, вскоре превысили бы по объему земной шар в двадцать раз. Это замечание автор книги увенчивает восклицательным знаком. Летописи неоднократно упоминают годы, когда улов сельди грозил прямо-таки катастрофическим переизбытком. Сообщается даже, что ветер и волны относили к берегу огромные косяки сельди и она выбрасывалась на сушу, покрывая толстым слоем несколько миль побережья. Местные жители сгребали ее лопатами в корзины и ящики. Но уносили лишь малую часть этого рыбного урожая, а остальная рыба через несколько дней окочевала, являя собой ужасающую картину природы, задыхающейся в собственном изобилии. С другой стороны, много раз выяснялось, что сельдь избегает привычных нерестилищ, отчего нищают целые прибрежные регионы. До сих пор не совсем ясно, по каким путям сельдь бороздит море. Принято считать, что эти пути определяются соотношениями света и ветра, земным магнетизмом или различными изотермами воды. Но все эти предположения в последнее время оказались несостоятельными. Поэтому охотники за сельдью могли опираться лишь на традиционные знания, основанные на легендах, или исходить из собственных наблюдений. Установлено, к примеру, что рыба, образуя косяки, то есть правильные клинообразные построения, под определенным углом падения солнечных лучей посылает к небу пульсирующий отблеск. Надежным признаком присутствия сельди считаются также мириады стертых чешуек, плавающих на поверхности воды, днем они сияют как пластинки серебра, а в сумерках похожи иногда на снег или пепел. Если уж люди замечали косяк сельди, то обычно ночью вылавливали ее, а именно сетью длиной двести футов, вмещавшей до четверти миллиона особей. Та же «Естественная история» сообщает, что плели сеть из грубого персидского шелка и окрашивали в черный цвет, потому что более светлая краска, судя по опыту, отпугнула бы рыбу. Такие сети не обхватывают рыбу, они стоят в воде стеной; рыба отчаянно бьется об эту стену, пока не запутается жабрами в ее петлях, чтобы через восемь часов быть задушенной во время вытягивания и скручивания сети. Поэтому выловленная сельдь, когда ее выбирают из сетей, по большей части уже мертва. Прежние зоологи, например де Ласепед, полагали, что вынутая из воды сельдь мгновенно умирает, то ли от инфаркта, то ли по другой причине. Эту особенность вскоре приписали сельди все авторитетные естествоиспытатели и в свою очередь стали уделять особое внимание тем свидетелям, которые своими глазами видели сельдь, извлеченную из воды живьем. Например, канадский миссионер по имени Пьер Сагар божился, что на

палубе канадского сейнера у побережья Ньюфаундленда довольно долго трепыхалась целая гряда сельди, а некий господин Нейкранц в Штральзунде с большой точностью зарегистрировал последние содрогания сельди, которую вытащили из воды за час и семь минут до смерти. Также некий Ноэль де Мариньер, инспектор рыбного рынка в Руане, однажды, к своему изумлению, наблюдал, как шевельнулась парочка сельдей, уже пролежавшая два-три часа на сухом прилавке, это побудило его точнее исследовать способность этих рыб к выживанию, для чего он обрезал им плавники и всячески калечил различными способами. Сия процедура, вдохновленная нашей жадной жадностью, является собой, так сказать, квинтэссенцию жестокости в истории страданий вида, которому постоянно угрожают катастрофы. То, что уже на стадии нереста не сожрет пикша и щука, исчезнет во внутренностях морского угря, умбры, трески или другого хищника, к которым следует причислить и нас самих. Уже в 1670 году примерно восемьсот тысяч голландцев и фризоров, то есть весьма значительная часть населения, занимались исключительно ловлей сельди. Сто лет спустя ежегодный улов сельди составлял шесть миллиардов особей. И эта почти непредставимая цифра не помешала естествоиспытателям утешать себя мыслью, что человек лишь частично отвечает за уничтожение, непрерывно продолжающееся в круговороте жизни. Впрочем, считалось, что особая физиологическая организация рыб предохраняет их от страха и боли, которую испытывают более высокоорганизованные животные в борьбе тел и душ. Но, если честно, о чувствах сельди мы не знаем ничего. Знаем только, что ее внутренний каркас состоит из более чем двухсот различных хрящей и костей, сочлененных сложнейшим образом. Внешне бросаются в глаза сильный хвост (руль и весло), узкая голова, слегка выдающаяся вперед челюсть и большой глаз с серебристо-белой радужной оболочкой, где плавают черный зрачок.



Спина вдоль хребта голубовато-зеленая. Каждая чешуйка на боках и брюхе имеет оранжево-золотистый цвет, но вся чешуя мерцает белым металлическим блеском. Когда вы держите сельдь на свету, хвостовые части отливают такой темно-зеленой красотой, какую больше не увидишь нигде. Когда из сельди ускользает жизнь, ее краски меняются. Спина синее, ротовая полость и жабры краснеют от крови. Между прочим, у сельди есть еще одна особенность: ее мертвое тело на воздухе начинает сиять. Это свечение, похожее на фосфоресценцию, но совершенно от нее отличное, через несколько дней после смерти достигает пика и убывает по мере разложения особи. Разлагается сельдь долго. И долгое время оставалось (да еще и сегодня, я думаю, остается) необъяснимым, с чем связано свечение безжизненной сельди. Известно, что около 1870 года, когда повсюду началась работа над проектами освещения наших городов, двое ученых англичан, чьи имена (Херрингтон и Лайтбоун) странным образом соответствовали их исследованиям, изучали этот своеобразный феномен в надежде, что выделенная

из мертвой сельди светящаяся субстанция позволит найти формулу для производства эссенции света, каковая будет постоянно регенерировать сама себя. Провал этого эксцентричного плана (я прочел о нем в одной монографии по истории искусственного света) не заслуживает упоминания. Он был всего лишь ответным ударом из повсеместно и неудержимо оттесняемой тьмы.



Оставив позади пляжных рыбаков, я уже к полудню добрался до соленого озера Бенакр-Брод, лежащего за отмелью на полпути между Лоустофтом и Саутуолдом. Озеро окружено зеленым венком кустарников, но из-за прогрессирующей эрозии берега кусты со стороны моря постепенно чахнут. В какую-нибудь штормовую ночь (это, конечно, только вопрос времени) отмель уйдет под воду и весь облик местности изменится. Но в тот день, когда я сидел там, на тихом берегу, мне казалось, я гляжу в вечность. Полосы тумана, принесенные утром к берегу, рассеялись, и небосвод был пустым и синим, в воздухе ни дуновения, деревья стояли как нарисованные, и ни одна птица не реяла над бархатной коричневой водой. Мир словно застыл под стеклянным колпаком. Потом с запада выплыли мощные кучевые облака и медленно натянули над землей серую тень. Возможно, эта мгла напомнила мне, что несколько месяцев назад я вырезал из «Истерн дейли пресс» статью о смерти майора Джорджа Уиндема Лестрейнджа, владельца Хенстеда, чей большой каменный дом стоял на другой стороне соленого озера. В статье говорилось, что Лестрейндж во время последней войны служил в противотанковом полку, который 14 апреля 1945 года освобождал лагерь Берген-Бельзен, но сразу после капитуляции Германии вернулся на родину, чтобы взять на себя управление именными своего двоюродного деда в графстве Суффолк. Этим он и занимался по крайней мере до середины пятидесятых, причем весьма успешно, как стало мне известно из другого источника. В пятидесятых годах Лестрейндж перевел на имя своей экономки земельные участки в Суффолке, а также недвижимость в центре Бирмингема, оцененную во много миллионов фунтов, а позже он завещал ей все свое состояние.



Если верить статье, Лестрейндж, нанимая эту экономку, простую молодую женщину из поселка Бекклз по имени Флоренс Барнс, поставил неперемное условие: она должна была готовить пищу и разделять с ним трапезы, но при этом хранить абсолютное молчание. Видимо, сама миссис Барнс сообщила газете, что честно выполняла поставленное ей условие даже тогда, когда Лестрейндж стал вести себя все более эксцентрично. Правда, миссис Барнс, подвергаясь весьма настойчивому допросу со стороны газетчика, высказывалась крайне сдержанно, но и мои собственные, предпринятые несколько позже разыскания подтвердили, что с конца пятидесятых Лестрейндж постепенно уволил всех домашних слуг, а также сельскохозяйственных рабочих, садовников и управляющих. Он жил один в большом каменном доме с молчаливой кухаркой из Бекклза, а потому все имение, сады и парк дичали, а невспаханые поля зарастали сорняками и кустарником. Кроме этих показаний, оставленных свидетелями упадка имения, в соседних деревнях ходили слухи, касавшиеся самого майора, возможно, не совсем заслуживающие доверия. Они основывались на том немногом, что просачивалось к общественности из глубины парка, а потому особенно занимало более узкие круги местного населения. Так, например, в одном трактире в Хенстеде я слышал, что Лестрейндж под старость совершенно сносил свой гардероб, но терпеть не мог надевать новые вещи и разгуливал в старинной одежде, которую, по мере надобности, извлекал из сундуков на чердаке своего дома. Находились люди, утверждавшие, что видели его несколько раз в сюртуке канареечного цвета или в чем-то вроде траурного плаща из траченной молью тафты со множеством пуговиц и петель. Еще говорили, что Лестрейндж, имевший привычку держать в своей комнате ручного петуха, к тому же был постоянно окружен всевозможными пернатыми: цесарками, фазанами, голубями и перепелами и самыми разными садовыми и певчими птицами; они либо бегали за ним по земле, либо сопровождали его по воздуху. Рассказывали, что однажды летом Лестрейндж выкопал в своем саду яму, где сидел днем и ночью, как святой Иероним в пустыне. Но самой удивительной была байка, сочиненная, как я полагаю, служащими похоронного бюро в Рентеме. Говорили, что

светлая кожа майора во время его кончины позеленела, приобрела оливковый оттенок; серые, как у гуся, глаза стали темно-синими, а соломенного цвета волосы почернели, как вороново крыло. И что прикажете думать о таких историях? Наверняка известно лишь то, что парк со всеми прилегающими угодьями в прошлом году был продан с молотка какому-то голландцу. Флоренс Барнс, верная домоправительница, вместе со своей сестрой Джемаймой живет в родном поселке Бекклз.

ЕДР 152

## Housekeeper Rewarded for Silent Dinners

A wealthy eccentric has left his vast estate to the housekeeper to whom he hardly spoke for over thirty years.

Major George Wyndham Le Strange (77), a bachelor, collapsed and died last month in the hallway of his manor house in Henstead, Suffolk which had remained virtually unchanged since Georgian times.

During the last war, Le Strange had served in the 63rd Anti-Tank Regiment which liberated the concentration camp at Belsen on 14 April 1945. Immediately after VE-Day, he returned to Suffolk to manage his great uncle's estates.

Mrs. Florence Barnes (57), employed by Le Strange in 1955 as housekeeper and cook on condition that she dined with him in silence every day, said that Le Strange had, in the course of time, become a virtual recluse but she refused to give any details of the Major's eccentric way of life.

Asked about her inheritance, she said that, beyond wanting to buy a bungalow in Beccles for herself and her sister, she had no idea what to

К югу от Бенакр-Брод, в четверти часа ходьбы, где пляж сужается и начинается участок крутого берега, валяются грудой несколько десятков мертвых деревьев, видимо, сорванных со скал Коувхайта много лет назад. Выбеленные соленой водой, ветром и солнцем, расщепившиеся, лишенные коры стволы напоминают кости каких-то огромных, более крупных, чем мамонты и динозавры, животных, погибших на этом пустынном побережье. Тропа ведет в обход этой груды, через заросли дрока на глинистый утес; там, в небольшом отдалении от края твердой земли, который может осыпаться в любую минуту, она петляет среди папоротников, самые высокие из которых доставали мне до плеча. Далеко в свинцово-сером море меня сопровождала парусная лодка, точнее говоря, мне казалось, что она стоит на месте и что я так же мало продвигаюсь вперед, как тот невидимый рулевой-привидение на его неподвижной лодке. Но постепенно заросли орляка редели, открывая вид на поле, простиравшееся до церкви Коувхайта.



За низкой электроизгородью, на бурой земле, поросшей жалкими пучками ромашек, лежало свиное стадо примерно в сотню голов. Я переступил через проволоку и подошел к одному из тяжелых, неподвижно спящих животных. Когда я склонился над ним, хряк медленно

открыл маленький обрамленный светлыми ресницами глаз и вопросительно взглянул на меня. Я провел рукой по пыльной спине, вздрогнувшей от непривычного прикосновения, погладил рыло и почесал ямку за ухом, а он вздохнул, как человек, измученный бесконечным страданием. Потом я поднялся, а он с выражением глубокой признательности снова прикрыл глаз. Я немного посидел на травке между электрическим забором и краем обрыва. Редкие, уже пожелтевшие колосья склонялись под налетевшим ветром. Небо заметно хмурилось. Над морем, уже покрытым белыми полосами шторма, сгущались тучи. Лодка, так долго не желавшая двигаться с места, вдруг исчезла. Все это напомнило мне историю, произошедшую в стране Гадаринской, которую рассказывает святой евангелист Марк и которая непосредственно примыкает к другой, несравнимо более известной истории об усмирении бури на озере Генисарет. В школьный катехизис отлично вписывалась картина с маловерными учениками, которые будят Учителя, беззаботно дремлющего в лодке, уже заполненной водой. Но никто путем не понимал, как это связано с бесноватым из страны Гадаринской, из которого Иисус изгнал нечистого духа. Я, во всяком случае, не могу припомнить, чтобы нам читали эту историю на уроках Закона Божьего или во время богослужений, не говоря уж о ее толковании. Этот бесноватый, о котором говорится, что он выбежал навстречу Иисусу из гробов, где имел жилище, обладал такой непомерной силой, что никто не мог укротить его. Он разрывал все цепи и сбивал любые оковы. Всегда, ночью и днем, пишет святой Марк, в горах и гробах кричал он и бился о камни. В ответ на вопрос «Как тебе имя?» он сказал: «Легион имя мне, потому что нас много и мы просим не изгонять нас из этой страны». И Господь приказал злым духам войти в стадо свиней, которое паслось там при горе. И свиньи, о которых евангелист говорит, что их было около двух тысяч, устремились с крутизны в море и потонули. Неужели, спрашивал я себя, глядя на Северное море, в этой жуткой истории идет речь об отчете правдивого свидетеля? А если так, разве это не означает, что при исцелении безумца из страны Гадаринской Господь совершил врачебную ошибку? Или, вопрошал я себя, перед нами всего лишь сочиненная евангелистом притча о происхождении мнимой нечистоты свиней? Если вдуматься, смысл ее в том, что мы всегда произвольно переносим болезнь нашего человеческого рассудка на другой вид, который считаем низшим и заслуживающим разрушения. Размышляя об этом, я глядел вдаль, на море, над которым носились стаи ласточек. Непрерывно издавая короткие крики, они рассекали свое летное поле быстрее, чем я успевал проводить их взглядом. Давным-давно, в детстве, глядя вечерами с темнеющей земли на этих стремительных созданий (в те времена в закатном свете их кружилась еще больше), я представлял себе, что мир поддерживается траекториями, которые они чертят в воздушном пространстве. Много лет спустя я прочел изданное в «Сальто Ориенталь» в Аргентине в 1940 году сочинение «Глён, Укбар, Orbis Tertius», в нем упоминались случаи, когда птицы спасали от исчезновения развалины амфитеатров. Теперь я заметил, что ласточки носились исключительно в той плоскости, которая с холма, где я сидел, уходила в пустоту. Ни одна не поднималась выше и не ныряла глубже по направлению к воде. А когда они, подобно снарядам, приближались к берегу, некоторые из них исчезали прямо у меня под ногами, словно их поглощала земля. Я подошел к обрыву и увидел, что они пробурили ямки для своих гнезд в самом верхнем слое глинистого склона, одну за другой. Я стоял, так сказать, на перфорированном куске земли, который мог обрушиться в любой момент. Но я все-таки, насколько смог, запрокинул голову и устремил взгляд вверх к зениту, потом опустил его вниз по небосводу, до самой линии горизонта, а потом перевел по воде назад, вплоть до узкой полосы пляжа примерно в двадцати метрах подо мной. В детстве мы проделывали это упражнение на плоской жестяной крыше двухъярусного улья, чтобы испытать себя на смелость. Я с трудом перевел дух, преодолевая головокружение, и отступил на шаг. Мне показалось, что здесь, на полосе этого пляжа, шевелится нечто бесцветное. Я присел на корточки и, охваченный внезапной паникой, поглядел вниз за край обрыва. Там внизу, на дне ямы, человеческая пара, подумал я, мужчина лежит, вытянувшись на теле какого-то другого существа, которого

не видно. Видны только согнутые под углом, вывернутые наружу ноги. И на какую-то секунду, длившуюся целую вечность, эта картина пронизала меня ужасом: мне представилось, что по стопам мужчины прошла дрожь, что они дернулись, как стопы висельника. Потом он затих, и женщина тоже застыла в неподвижности. Они лежали там, бесформенные, как выброшенный на сушу огромный моллюск, вроде бы одно тело, одно принесенное водой, многочисленное, двухголовое морское чудовище, последняя особь монструозного, издыхающего вида. И последнее дыхание ровной струей вытекает из его ноздрей. В полном замешательстве я снова выпрямился, так неуверенно, словно впервые в жизни вставал с земли, и пошел прочь с этого места, показавшегося мне вдруг жутким, с этого холма вниз по пологой дороге к пляжу, который здесь расширяется к югу. Далеко впереди передо мной выступил из темноты городок Саутуолд: несколько крошечных домов, островки деревьев и белоснежная башня маяка под темным небом. Но прежде чем я добрался до него, упали первые капли дождя. Я обернулся, взглянул на пустую дорогу и усомнился: неужто я впрямь видел бледное морское чудовище у подножия скал Коувхайта, или оно было плодом моего воображения.



Воспоминание об испытанной тогда неуверенности снова возвращает меня к уже упомянутому выше аргентинскому сочинению, где речь идет о наших попытках изобрести миры второй или даже третьей степени. Рассказчик описывает, как он вместе с неким Бьом Касаресом в 1935 году ужинал у себя дома на улице Гаона в Рамос-Мехиа и как они после ужина завели длинный разговор о том, как построить фабулу романа, настолько изобилующую противоречиями, чтобы некоторые (весьма немногие) читатели смутно ощутили действительность, скрытую в повествовании, – отчасти жуткую, отчасти же совершенно незначительную. Далее автор сообщает, что в конце коридора, ведущего в комнату, где они тогда сидели, висело овальное полуслепое зеркало, источавшее какое-то беспокойство. Мы чувствовали, пишет он, что этот безмолвный свидетель подслушивает нас, и открыли (глубокой ночью такие открытия почти неизбежны), что в зеркалах есть нечто ужасное. Бьом Касарес припомнил, что один из ересиархов из Укбара объяснял это так: в зеркалах, впрочем, как и в акте совокупления, нас ужасает то, что они умножают число людей. Я спросил Касареса, продолжает автор, о

происхождении этой сентенции, которая показалась мне сомнительной, и он сослался на статью «Укбар» в Англо-американской энциклопедии. Однако, как выяснилось в ходе дальнейшего повествования, в указанной энциклопедии этой статьи не оказалось. Возможно, она имела единственно и исключительно в экземпляре, приобретенном Бьом Касаресом. Двадцать шестой том этого экземпляра на четыре страницы больше всех остальных экземпляров издания 1917 года. Поэтому остается неясным, существовал ли Укбар, или при описании сей неизвестной страны произошло то же, что с проектом энциклопедистов «Тлён», каковому посвящена главная часть данного сочинения. В проекте «Тлён» речь идет о том, чтобы с течением времени через нечто чисто нереальное проникнуть к новой действительности. Конструкция Тлёна напоминает лабиринт, говорится в послесловии 1947 года. Он задуман с намерением стереть известный мир. И это никому до сих пор не понятное словечко «Тлён» уже проникло в школы, история Тлёна перекрывает все, что мы до сих пор знали, уже появляются в историографии бесспорные преимущества фиктивного прошлого. Почти все отрасли науки реформированы, а немногие еще не реформированные дисциплины также ожидают обновления. Рассеянная по миру династия отшельников, династия открывателей, энциклопедистов и лексикографов Тлёна изменила облик Земли. Все языки, даже испанский, французский и английский, исчезнут с планеты. Мир превратится в Тлён. Но меня, заключает рассказчик, это нимало не заботит; в тихой праздности я продолжаю, следуя заветам Кеведо, ощупью переводить «Погребение в урнах» Томаса Брауна. Корплю над ним, хотя и не собираюсь его публиковать.

## IV

Когда я после ужина совершал прогулку по улицам и переулкам города, тучи уже рассеялись. Между рядами кирпичных домов сгустились сумерки. И только башня маяка, с ее мерцающей стеклянной каютой, еще достигала света, постепенно уходящего с земли. После долгого пути из Лоустофта ноги у меня гудели от усталости, я уселся на скамью на широком склоне так называемого Пушечного холма и глядел на тихое море, из глубин которого теперь за клубились тени.



Последние вечерние прохожие разошлись по домам. Я чувствовал себя как в пустом театре, и меня бы не удивило, если бы вдруг поднялся занавес и на просцениуме снова наступило, например, 28 мая 1672 года. В тот достопамятный день, на фоне сияющего утра, в открытом море показался, рассекая морскую дымку, голландский флот и открыл огонь по английским кораблям, стоявшим в бухте Саутуолда. Вероятно, тогда, услышав первые пушечные выстрелы, жители выбежали из города и с берега наблюдали редкое зрелище. Прикрыв ладонью глаза от слепящего солнца, они, наверное, смотрели на, казалось, беспорядочно снующие туда-сюда корабли, на их вздутые легким норд-остом паруса, которые при тяжеловесных маневрах снова повисали. Вряд ли с такого расстояния можно было различить людей, даже господ из голландского и английского адмиралтейств, на их капитанских мостиках. Позже, когда разыгрался бой, когда взрывались кюйт-камеры и просмоленные тела судов обгорали до ватерлинии, бухту заполнил едкий черно-желтый дым, скрывший от наблюдателей ход боевых действий. Если сведения о битвах на так называемых полях чести испокон века были ненадежными, что уж говорить о живописных изображениях крупных морских сражений? Все они, без исключения, – чистая фикция. Даже такие прославленные маринисты, как Сторк, ван де Велде или Лутербург, чьи произведения, посвященные Battle of Southwold Bay<sup>13</sup>, я внимательно изучал в Морском музее в Гринвиче, не сумели (несмотря на бесспорно реалистические намерения) достоверно передать ощущения человека на корабле, до предела нагруженном орудиями и людьми, когда рушились горящие мачты и паруса, когда пушечные ядра пробивали палубы, кишащие телами.



Только на трехмачтовике «Ройал Джеймс», протараненном брандером, погибла половина команды в тысячу человек. Другие подробности о гибели этого корабля до нас не дошли. Разные свидетели утверждают, что видели, как весивший почти полтораста кило граф Сандвич, командующий английским флотом, отчаянно жестикулировал на корме, окруженный пламенем. Известно только, что его разбухший труп спустя несколько недель после сражения был

<sup>13</sup> Битва в Саутуолдской бухте (англ.).

прибит к берегу под Хариджем. Швы мундира полопались, пуговицы вырвались из петель, но орден Подвязки сиял первозданным великолепием. В те времена нечасто в одной битве погибло столько людей. Пережитые страдания, все это дело разрушения во много раз превосходят возможности нашего воображения. Нельзя себе представить, какой понадобился огромный труд, сколько пришлось срубить и обработать деревьев, сколько добыть и переплавить руды, сколько выковать железа, сколько соткать и сшить парусов, чтобы построить и вооружить корабли, в большинстве своем изначально предназначенные для уничтожения. Эти странные существа, окрещенные такими красивыми именами – «Ставорен», «Резолюшн», «Виктори», «Гроот Голландия» и «Олифан», – как недолго скользили они по морю, несомые дыханием мира, чтобы снова уйти в небытие. Кстати, так никогда и не было выяснено, какая из сторон в конечном счете одержала победу при Саутуолде в этом морском сражении за экономические преимущества. Считается, однако, что упадок Нидерландов начался здесь, с передислокации сил, почти незаметной на фоне общих потерь в этой битве. С другой стороны, английское правительство, почти обанкротившееся, дипломатически изолированное и глубоко униженное голландским нападением на Чатем, несмотря на, казалось бы, полное отсутствие стратегии и бездарное командование флотом, только благодаря тогдашней игре ветра и волн смогло утвердить свое столь долгое и несокрушимое господство на морях. В тот вечер в Саутуолде, глядя на Северное море, я вдруг совершенно четко ощутил, как мир медленно сворачивается, погружаясь во тьму. Американские охотники, писал Томас Браун в своем трактате о кремации, встают как раз тогда, когда персы погружаются в глубокий сон. Ночная тень протягивается над землей, как шлейф. И так как после захода солнца, продолжает он, почти все от одного часового пояса до другого укладываются спать, то, следуя за заходящим солнцем, можно было бы видеть, что заселенный нами шар полон поваленных, как бы скошенных косой Сатурна тел – убранный урожай, бесконечно длинное кладбище человечества, больного падучей. Я все вглядывался и вглядывался в море, туда, где ступился мрак и где протянулась едва заметная гряда облаков очень странной формы: вероятно, это удалялась гроза, пронесшаяся вечером над Саутуолдом. Самые высокие гребни этой гряды чернильного цвета некоторое время еще сверкали в вышине, как ледники Кавказа, а потом постепенно угасли, и я вспомнил, что много лет назад, во сне, странствовал в таких же далеких и чуждых горах и прошел их во всю длину. Наверное, я преодолел больше тысячи миль, шагая через пропасти, глубокие ущелья и долины, через перевалы, осыпи и наносы, по опушке больших лесов, через каменные поля, валуны и снег. Я вспомнил, что во сне, дойдя до конца пути, оглянулся назад и что было ровно шесть часов вечера. Зубцы гор, откуда я пришел, с прямо-таки пугающей четкостью вырисовывались на фоне лазурного неба, по которому плыли два или три розовых облака. Картина была почему-то знакомой, я неделями вспоминал ее, пока не осознал, что она до малейшей подробности совпадает с картиной горного массива Валлюла, я наблюдал ее незадолго до поступления в школу из окна автобуса, когда вечером, страшно усталые, мы возвращались домой с экскурсии на Монтафон. Вероятно, вытесненные воспоминания создают своеобразную сверхреальность того, что мы видим во сне. А может быть, это какая-то туманная, таинственная завеса: все, что ты видишь сквозь нее, парадоксальным образом кажется намного ярче. Лужица становится морем, дуновение ветра – бурей, горстка пыли – пустыней, гранула серы в крови – вулканическим огнем. Что это за театр, в котором ты – и поэт, и актер, и машинист сцены, и художник, и зритель в одном лице? Как спастись от опасностей, которые привиделись тебе во сне? Нужно для этого больше или меньше рассудка, чем у тебя есть перед сном?

Я никогда не мог постичь этого. И в тот вечер на Пушечном холме в Саутуолде я никак не мог поверить, что всего год назад смотрел на Англию с той стороны, с голландского берега. Я тогда после нехорошей ночи, проведенной в Бадене, в Швейцарии, приехал через Базель и Амстердам в Гаагу и остановился в сомнительном отеле на Штационсвег, то ли «Лорд Асквит», то ли «Аристо», то ли «Фабиола», не помню. Во всяком случае, заведение это повергало

в состояние глубокой удрученности даже самого скромного путешественника. В нише администратора сидели двое не первой молодости господ, явно давно уже женатых друг на друге, а между ними, вместо ребенка, абрикосового цвета пудель. Немного отдохнув в отведенном мне номере, я отправился по Штационсвег к центру в надежде где-нибудь перекусить. Я миновал бар «Бристоль», кафе «Юкселс», какой-то видеобутик, турецкую пиццерию, евросексшоп, исламскую мясную лавку и лавку, торгующую коврами, над витриной которой тянулась четырехчастная фреска с изображением бредущего по пустыне каравана. На фронтоном облупленного дома красовалась надпись красными буквами: Perzenpaleis, все окна на верхних этажах были замазаны известкой. Пока я глядел вверх на этот фасад, кто-то задел меня локтем.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.